This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
38.7
K35S6
SOLOV'EV, E.A.
N.M. KARAMZIN; EGO ZHIZN'
I NAUCHNO-LITERATURNAIA...

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Лсно 4:11/68

Н. М. Карамзинъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.
БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Solov'ev, E. A.

Н. М. КАРАМЗИНЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Н. М. Карамзина, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Е. Евдокимова, Троицкая ул., № 18.
1894.

LK

DK38.7
K35S6

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 15 Сентября 1894 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. Дѣтство.—Отрочество.—Юность 5
II. Знакомство съ Новиковымъ. — Дружба съ Петровымъ.— «Дѣтское чтеніе». 13
III. Поѣздка за границу.—«Письма Русскаго Путешественника» 20
IV. «Московскій Журналъ» и сборники. 29
V. Изданіе сборниковъ.—«Вѣстникъ Европы» 37
VI. Русская историческая наука до Карамзина 47
VII. «Исторія Государства Россійскаго» 54
VIII. Гражданскія убѣжденія Карамзина.—Послѣдніе годы его жизни. 67
Заключеніе 77

ИСТОЧНИКИ И ПОСОБІЯ:

1) Н. М. Карамзинъ. Сочиненія.
2) М. Погодинъ: «Н. М. Карамзинъ».
3) Н. Старчевскій: «Н. М. Карамзинъ».
4) Статьи С. М. Соловьева въ «Отечественныхъ Запискахъ» за 1853 г.
5) Статьи Н. Милюкова въ «Русской Мысли» за 1893—94 гг.
6) «Воспоминанія» Вигеля
7) Галаховъ: «Исторія литературы».

I.

Дѣтство.—Отрочество.—Юность.

Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1-го декабря 1766 года въ одномъ изъ помѣстій своего отца, Михаила Егоровича. Родъ Карамзиныхъ — старинный дворянскій, ведетъ свое происхожденіе отъ татарскаго выходца Кара-Мурзы, который при царяхъ (когда, въ точности неизвѣстно) поступилъ на службу Москвы, принялъ крещеніе и получилъ земли въ Нижегородской губерніи вмѣстѣ съ дворянскимъ званіемъ. Отецъ Карамзина, отставной капитанъ арміи, обладалъ характеромъ простымъ и добрымъ и отличался старорусскимъ гостепріимствомъ и обязательностью. Женатъ онъ былъ два раза и всю свою жизнь провелъ въ полномъ помѣщичьемъ довольствѣ. Николай Михайловичъ родился отъ первой его жены— Екатерины Михайловны, урожденной Пазухиной, скончавшейся скоро — хотя опять-таки неизвѣстно когда — послѣ появленія на свѣтъ своего сына. Гораздо позже, въ 1793 г., Карамзинъ въ посланіи женщинамъ удѣлилъ нѣсколько по обыкновенію чувствительныхъ строкъ своей матери, гдѣ говоритъ между прочимъ:

Ахъ! Я не зналъ тебя!.. Ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась
Среди весеннихъ, ясныхъ дней,
Въ жилище мрака преселилась!..
Я въ первый жизни часъ наказанъ былъ судьбой.

Стихотвореніе заканчивается любопытнымъ признаніемъ:

Твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство.

—признаніемъ, какъ увидимъ ниже, совершенно справедливымъ.

Дѣтство свое Карамзинъ провелъ на берегу рѣки Волги, и картины природы Поволжья оставили въ его душѣ сильное, неизгла-

димое впечатлѣніе. Въ юности онъ неразъ воспѣвалъ на своей «слабой лирѣ» тѣ мѣста, гдѣ, говоритъ онъ:

Я природу полюбилъ,
Ей первенца души и сердца
Слезу, улыбку посвятилъ,
И росъ въ веселіи невинномъ,
Какъ юный миртъ въ лѣсу пустынномъ!..

Какимъ путемъ научился онъ читать и писать—мы хорошенько не знаемъ. Повидимому обязанности перваго наставника исполнялъ дьяконъ мѣстной церкви, съ которымъ Карамзинъ, по обычаю того времени, прочелъ сначала Часословъ, а затѣмъ перешелъ къ гражданскому шрифту, не представившему особенныхъ затрудненій, благодаря рѣдкимъ, блестящимъ способностямъ ребенка. Немного позже приставили къ нему еще и нѣмца-гувернера, предобродушнѣйшее, хотя и недалекое существо.

Къ чтенію и одиночеству Карамзинъ, несмотря на то, что у него было три брата: Василій, Ѳедоръ и Александръ,—пристрастился очень рано. Читалъ онъ все, что̀ попадало подъ руку и что̀ можно было найти въ книжномъ шкафѣ. «Донъ-Кихота» онъ узналъ еще въ дѣтствѣ, сильное впечатлѣніе произвели на него и другіе романы и повѣсти, изъ которыхъ впослѣдствіи не безъ улыбки вспоминалъ онъ о «Даирѣ», восточной повѣсти, «Селимѣ и Дамассинѣ», повѣсти *африканской*, «Похожденіяхъ Мирамонда» и прочее. Попадались ему въ руки и историческія сочиненія, причемъ особенно увлекался онъ Сципіономъ Африканскимъ и, разумѣется, самъ себя воображалъ героемъ.

Воображенія—той силы, которая неотразимо влечетъ человѣка на поприще писателя, художника, артиста,—было очень много удѣлено Карамзину отъ природы. Усиленное, хотя и безпорядочное чтеніе, разумѣется, должно было развивать ту же способность. Карамзинъ читалъ запоемъ, затаивъ дыханіе, забывая рѣшительно обо всемъ. Забравшись куда-нибудь въ глушь сада, на берегъ Волги, онъ просиживалъ за книгами цѣлыми днями, забывая о завтракѣ и обѣдѣ, и только сильный дождь или гроза заставляли его опомниться и придти въ себя. Въ романахъ ему открылся новый свѣтъ. «Я—говоритъ онъ—увидѣлъ, какъ въ магическомъ фонарѣ, множество разнообразныхъ людей на сценѣ, множество чудныхъ дѣйствій, приключеній — игру судьбы, дотолѣ мнѣ совсѣмъ неизвѣстную... (но какое-то предчувствіе говорило мнѣ: ахъ! и ты нѣкогда будешь ея жертвою! и тебя охватитъ, унесетъ сей вихорь... куда? куда?..) Сіе чтеніе не только не повредило моей юной душѣ, но было

еще весьма полезно для образованія внутренняго чувства. «Въ Даирѣ», «Мирамондѣ», въ «Селимѣ и Дамассинѣ» (знаетъ ли ихъ читатель?), однимъ словомъ, во всѣхъ романахъ... герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными, всѣ злодѣи описываются самыми черными красками, первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе, какъ прахъ, исчезаютъ. Въ нѣжной моей душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми, начерталось слѣдствіе: и такъ любезность и добродѣтель одно! и такъ зло безобразно и гнусно! и такъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ!» Порою, оставляя книгу, Карамзинъ смотрѣлъ на «синее пространство Волги», на «бѣлые паруса судовъ и лодокъ», на «станицы рыболововъ, которые изъ подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ и въ то-же мгновеніе снова парятъ въ воздухѣ». Онъ полюбилъ природу, какъ книги, за то, что ея виды и картины уносили его въ царство грёзъ; грёзы же постепенно сдѣлались все болѣе и болѣе необходимымъ элементомъ его бытія. На десятомъ году отъ рожденія онъ могъ уже «часа по два играть воображеніемъ и строить зàмки на воздухѣ». Опасности и героическая дружба были любимою мечтою мальчика, причемъ, разумѣется, онъ всегда воображалъ себя избавителемъ какой-нибудь фантастической Дульцинеи. Онъ «мысленно летѣлъ во мракѣ ночи на крикъ путешественника, умерщвленнаго разбойниками, или бралъ штурмомъ высокую башню, гдѣ страдалъ въ цѣпяхъ другъ его...» Сверхъ того онъ любилъ грустить, не зная о чемъ. «Голубые глаза его сіяли сквозь какой-то флеръ,—прозрачную завѣсу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположеніе въ грусть». «Ахъ!—восклицаетъ Карамзинъ, заканчивая картину своего дѣтства—самый лучшій родитель не можетъ замѣнить матери, добрѣйшаго существа въ мірѣ! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяетъ сердцу во всѣхъ отношеніяхъ!..»

Между прочимъ однажды во время чтенія въ лѣсу съ нимъ случилось характерное приключеніе, которое онъ самъ описалъ, изобразивъ себя подъ именемъ Леона: «Гроза усиливалась: мальчикъ любовался блескомъ молніи и шелъ тихо, безъ всякаго страха. Вдругъ изъ густого лѣса выбѣжалъ медвѣдь и прямо бросился на Леона. Дядька не могъ даже и закричать отъ ужаса. Двадцать шаговъ отдѣляютъ нашего маленькаго друга отъ неизбѣжной смерти; онъ задумался и не видитъ опасности: еще секунда, двѣ—и несчастный будетъ жертвою яростнаго звѣря. Грянулъ страшный громъ... какого Леонъ никогда не слыхивалъ; казалось, что небо надъ нимъ

обрушилось и что молнія обвилась вокругъ головы его. Онъ закрылъ глаза, упалъ на колѣни и только могъ сказать: «Господи!» Чрезъ полминуты взглянулъ—и видитъ предъ собою убитаго громомъ медвѣдя. Дядька насилу могъ образумиться и сказать ему, какимъ чудеснымъ образомъ Богъ спасъ его».

«Этотъ ударъ грома,—добавляетъ Карамзинъ,—былъ основаніемъ моей религіи». Но, разумѣется, кромѣ книгъ и «синяго пространства Волги, на ребенка вліяла и домашняя его обстановка. Къ его отцу, хлѣбосольному, гостепріимному помѣщику, то и дѣло наѣзжали гости сосѣди. Маленькій Карамзинъ любилъ встрѣчать ихъ и, завидѣвъ у крыльца повозки или брички, «съ великимъ удовольствіемъ» бѣжалъ въ кабинетъ къ отцу, крича по дорогѣ: «батюшка, ѣдутъ гости!»—на что̀ отецъ неизмѣнно отвѣчалъ: «добро пожаловать!» «Провинціалы наши—вспоминаетъ Карамзинъ—не могли наговориться другъ съ другомъ; не знали, что̀ за звѣрь политика и литература, а разсуждали, спорили и шумѣли. Деревенское хозяйство, извѣстныя тяжбы въ губерніи, анекдоты старины служили богатымъ матеріаломъ для разсказовъ и примѣчаній». «Какъ теперь, смотрю на тебя,—читаемъ мы дальше,—заслуженый маіоръ Ѳадей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимою и лѣтомъ въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами еще за двѣ горницы и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота ландмилиціи повиновалась и который въ яркихъ звукахъ своихъ нерѣдко ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи! Вижу и тебя, сѣдовласый ротмистръ Буриловъ, простреленный насквозь башкирскою стрѣлою въ степяхъ Уфимскихъ; слабый ногами, но твердый душею; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона, или омерзѣніе свое къ безчестному дѣлу какого нибудь недостойнаго дворянина нашего уѣзда. Гляжу и на важную осанку твою, бывшій воеводскій товарищъ Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя секретарь провинціи, ибо совѣсть умнѣе крючкотворства; вижу, какъ ты, разсказывая о Биронѣ и тайной Канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, которую подарилъ тебѣ фельдмаршалъ Минихъ».

Препровожденіе времени, какъ видно, было не затѣйливое. Къ разговорамъ надо прибавить обѣдъ и закуски, тянувшіеся часами, обильное возліяніе и нѣкоторое фрондированіе, не заходившее впро-

чемъ за предѣлы губерніи и не обращавшееся ни на кого выше исправника или, въ крайнемъ случаѣ, губернатора. Въ воспоминаніи объ этомъ фрондированіи мелкопомѣстныхъ дворянъ у насъ сохранился интересный документъ, скрѣпленный подписью всѣхъ друзей-провинціаловъ Карамзина старшаго, Громилова, Бурилова, Прямодушина и проч. Документъ, названный договоромъ братскаго общества, гласитъ: «Мы нижеподписавшіеся клянемся честію благородныхъ людей жить и умереть братьями, стоять другъ за друга горою во всякомъ случаѣ, *не жалѣть ни трудовъ, ни денегъ для услугъ взаимныхъ*, поступать всегда единодушно, *наблюдать общую пользу дворянства*, вступаться за притѣсненныхъ и помнить русскую пословицу: «тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ»; не бояться ни знатныхъ, ни сильныхъ, а только Бога и государя; *смѣло говорить правду губернаторамъ и воеводамъ*, никогда не быть ихъ прихлебателями и не такать противъ совѣсти. А кто изъ насъ не сдержитъ своей клятвы, тому будетъ стыдно и того выключить изъ братскаго общества».

Когда въ домѣ бывали гости, Карамзинъ постоянно вертѣлся между ними. Его любили и ласкали. По его собственнымъ словамъ, «онъ вкрадывался въ любовь какимъ-то привѣтливымъ видомъ, какими-то умильными взорами, какимъ-то мягкимъ звукомъ голоса, который пріятно отзывался въ сердцѣ...» Привѣтливый, нѣсколько грустный мальчикъ любилъ карабкаться на колѣна отставныхъ воиновъ, слушать ихъ громкія рѣчи, набивать имъ трубки, подавать угольки или трутъ. Но особенно ему нравились безчисленные и безчисленно много разъ повторявшіеся разсказы о побѣдахъ Миниха, о подвигахъ русскаго войска и другія имъ подобныя воспоминанія ветерановъ.

До мирнаго кружка, собиравшагося въ барскомъ домѣ глухого помѣстья Оренбургской губерніи, рѣдко долетали слухи о петербургскихъ событіяхъ, а если и долетали, то не возбуждали особеннаго интереса. Вся ихъ политическая гордость сосредоточилась на томъ, чтобы смѣло говорить правду губернаторамъ и воеводамъ и наблюдать общую пользу дворянскую. О большемъ они не мечтали, да и трудно было мечтать имъ, хорошо еще помнившимъ всѣ ужасы бироновскаго владычества и «премѣнность» судьбы, посылавшей въ вѣчную ссылку то Миниха, то Бирона. Впрочемъ кое-что доносилось изъ столицы и къ нимъ, въ глушь оренбургскихъ степей. Съ удовольствіемъ приняли они указъ о вольности дворянской и порадовались за дѣтей своихъ, которые такимъ образомъ освободились уже отъ обязательной государственной службы, подчасъ тяжкой,

а для бѣднаго барина всегда непріятной. Они струхнули, когда распространился слухъ о томъ, что за вольностью дворянской послѣдуетъ крестьянская; но слухъ оказался ложнымъ, и они вздохнули съ облегченіемъ. Указъ Императрицы противъ взяточничества произвелъ на нихъ впечатлѣніе тѣмъ болѣе, что у каждаго изъ нихъ имѣлись тяжбы съ родственниками или сосѣдями, и приказныя козявки высасывали изъ нихъ послѣдніе соки. Съ недоумѣніемъ присутствовали они на выборахъ въ комиссіи уложенія, но потомъ, сообразивъ въ чемъ дѣло, строго-на-строго заказали своему депутату блюсти интересы дворянскіе. За засѣданіями комиссіи они не слѣдили, уповая на «благорасположеніе Матушки государыни» къ дворянскому сословію. Отъ вѣчныхъ воспоминаній серьезно отвлекли ихъ лишь пушечные залпы въ Крыму, громкія побѣды Румянцева приводили ихъ въ восторгъ, и съ гордостью разсуждали они о непобѣдимости россійскаго воинства...

Вотъ что̀ видѣлъ и слышалъ вокругъ себя въ дѣтствѣ маленькій Карамзинъ, воскликнувшій впослѣдствіи съ своимъ обычнымъ риторическимъ паѳосомъ: «Родина, Апрѣль жизни, первые цвѣтки весны любезной! Какъ вы милы всякому, кто рожденъ съ любезной склонностью къ меланхоліи!»

* *
*

Въ дѣтствѣ Карамзинъ часто бывалъ въ Симбирскѣ и даже учился тамъ въ пансіонѣ нѣмца Фавеля, но чему и какъ—неизвѣстно. Здѣсь же произошелъ первый его романъ съ помѣщицей Пушкиной, кончившійся впрочемъ не особенно трагически: влюбленному 12-тилѣтнему мальчику возлюбленная помѣщица надрала уши.

13-ти или 14-ти лѣтъ Карамзинъ отправился въ Москву, гдѣ онъ и поступилъ въ университетскій пансіонъ Шадена. Личность этого педагога заслуживаетъ полнаго нашего вниманія. По свидѣтельству Фонвизина, «сей ученый мужъ, т.-е. Шаденъ, имѣетъ отмѣнное дарованіе преподавать лекціи и изъяснять такъ внятно, что успѣхи наши уже были очевидны». Шаденъ былъ нѣмецъ, родомъ изъ Пресбурга. Прослушавъ курсъ философіи въ Тюбингенѣ, онъ былъ вызванъ въ Москву и получилъ въ недавно основанномъ тогда университетѣ сразу четыре каѳедры: правоученія, права естественнаго и народнаго и политики. Пріѣхавъ въ Россію и занявъ мѣсто директора университетской гимназіи, Шаденъ сообразилъ, что университетъ самъ по себѣ можетъ принесть очень мало пользы. Необходимо было, по его мнѣнію, учредить среднія и низшія школы и частные пансіоны. Поэтому на торжественномъ актѣ 1751 г.,

въ присутствіи двора, онъ произнесъ рѣчь о заведеніи гимназій въ Россіи, а вскорѣ самъ, примѣра ради, открылъ пансіонъ по образцу германскихъ.

Въ пансіонѣ было обращено особенное вниманіе на изученіе языковъ, и Карамзинъ, прилежно занявшись ими, вскорѣ сдѣлалъ значительные успѣхи, чѣмъ обратилъ на себя особенное вниманіе Шадена. Тотъ сталъ водить его съ собою къ знакомымъ иностранцамъ, чтобы доставить своему любимцу случай поупражняться пофранцузски или понѣмецки, давалъ ему читать хорошія книги и, кажется, предвидѣлъ уже въ немъ будущаго литератора. Вскорѣ Карамзинъ сталъ посѣщать университетскіе классы, гдѣ, по его собственному признанію, всѣ учились если не наукамъ, то *русской грамотѣ*.

Такъ прошло четыре года. По понятіямъ того времени продолжать занятія науками далѣе 17—18 лѣтъ было такъ же зазорно для юноши, какъ для дѣвушки не выйти замужъ къ этому сроку. Надо было думать о карьерѣ, и Карамзинъ, пользуясь протекціей отца, записался подпрапорщикомъ въ Преображенскій гвардейскій полкъ. Служба требовала его присутствія въ Петербургѣ; онъ отправился туда и первымъ дѣломъ познакомился съ своимъ родственникомъ по матери и будущимъ извѣстнымъ писателемъ Дмитріевымъ. Вотъ что разсказываетъ послѣдній о встрѣчѣ съ Карамзинымъ.

«Однажды я, будучи еще и самъ сержантомъ, возвращаюсь съ прогулки; слуга мой, встрѣтя меня на крыльцѣ, сказываетъ мнѣ, что кто-то ждетъ меня, пріѣхавшій изъ Симбирска. Вхожу въ горницу, вижу миловиднаго, румянаго юношу, который съ пріятною улыбкою вручаетъ мнѣ письмо отъ моего родителя».

«Стоило только услышать имя Карамзина, какъ мы уже были въ объятіяхъ другъ друга. Стоило намъ сойтись три раза, какъ мы уже стали короткими знакомцами».

Еще болѣе Карамзинъ сблизился и подружился въ Петербургѣ съ старшимъ братомъ Ивана Ивановича, Александромъ Ивановичемъ, о которомъ сохранилось нѣсколько воспоминаній въ «Письмахъ Русскаго Путешественника» и въ статьѣ: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона».

«Едва ли не съ годъ мы были неразлучны,—продолжаетъ Дмитріевъ,—склонность наша къ словесности, можетъ быть, что-то сходное и въ нравственныхъ качествахъ, укрѣпляли нашу связь день отъ дня болѣе: мы давали взаимный отчетъ въ нашемъ чтеніи. Между тѣмъ я показывалъ ему иногда мелкіе мои переводы, которые были печатаны особо и въ тогдашнихъ журналахъ; слѣдуя моему примѣру, онъ принялся и самъ за переводы. Первымъ опы-

томъ его былъ *разговоръ австрійской Маріи-Терезіи съ нашей императрицей Елисаветою въ Елисейскихъ поляхъ*, переведенный имъ съ нѣмецкаго языка».

«Я совѣтывалъ ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупалъ и печаталъ переводы, платя за нихъ, по произвольной оцѣнкѣ и согласію переводчика, книгами изъ своей книжной лавки. Не могу безъ улыбки вспомнить, съ какимъ торжественнымъ видомъ добрый и милый юноша Карамзинъ вбѣжалъ ко мнѣ, держа въ обѣихъ рукахъ по два томика Фильдингова «Томаса Іонеса», («Tom Jones»), въ маленькомъ форматѣ съ картинками, перевода Харламова. Это было первымъ его возмездіемъ за словесные труды».

«Словесные труды» прельстили Карамзина. Въ томъ же 1783 г. онъ перевелъ идиллію Геснера «Деревянная нога», въ которой каждая фраза удивительно хорошо возстановляетъ передъ нами языкъ слащавой и добродѣтельной нѣмецкой поэзіи прошлаго вѣка—до Гёте и Шиллера. Въ идилліи рѣчь идетъ, разумѣется, о молодомъ пастухѣ, пасущемъ козъ на берегу источника, о пріятномъ шумѣ свирѣли, о добродѣтельномъ старцѣ, поучающемъ юношество, и многихъ другихъ одинаковыхъ вещахъ.

Но какъ ни пріятны были словесные труды, юноша рвался къ геройскимъ подвигамъ и хотѣлъ «разить весь свѣтъ», чтобы «прельстить женщинъ». Разить весь свѣтъ значило въ то время воевать съ турками, и Карамзинъ сталъ проситься въ дѣйствующую армію. Но назначеніе зависѣло преимущественно отъ полкового секретаря, который, какъ всѣ секретари, бралъ взятки, и такъ какъ у Карамзина денегъ было мало, то отъ желанія разить свѣтъ ему, къ счастью, пришлось отказаться. Онъ разочарованный вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ, гдѣ въ это время умеръ его отецъ, оставивъ послѣ себя небольшое наслѣдство.

Въ Симбирскѣ его видѣлъ Дмитріевъ и нашелъ его «уже играющимъ роль надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу и политикомъ передъ отцами семействъ, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила однакожъ въ немъ прежней охоты къ словесности; при первомъ нашемъ свиданіи, съ глазу-на-глазъ, онъ спрашиваетъ меня, занимаюсь ли попрежнему переводами, и сказалъ, что самъ занимается ими...»

II.

Знакомство съ Новиковымъ.—Дружба съ Петровымъ.—«Дѣтское Чтеніе».

Разсѣянная свѣтская жизнь Карамзина продолжалась не долго. Его же землякъ, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, уговорилъ его ѣхать въ Москву, что́ и случилось въ концѣ 1784 года. Въ Москвѣ тотъ же Тургеневъ ввелъ Карамзина въ лучшій и пожалуй единственный интеллигентный кружокъ того времени, собравшійся возлѣ знаменитаго книгоиздателя Новикова, гдѣ, по словамъ Дмитріева, онъ имѣлъ случай обращаться въ средѣ людей степенныхъ, соединенныхъ дружбою и просвѣщеніемъ.

Подробности о жизни и личности Новикова читатель можетъ почерпнуть изъ его біографіи, мнѣ же придется ограничиться лишь немногими словами объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ. Множество разнообразныхъ талантовъ прежде всего бросается въ немъ въ глаза. Его чуткость къ потребностямъ времени говоритъ о недюжинности его натуры. Его способность организаціи и вліянія на людей поразительны. Его честность и сила воли несомнѣнны. Въ общемъ это въ высшей степени рѣдкій типъ русскаго человѣка, обладающій громадной иниціативой и способностью идти собственной дорогой, не обращая вниманія на желаніе сильныхъ и на косность массы.

Утверждаютъ, что въ русскомъ человѣкѣ вообще преобладаютъ два свойства—табунное начало и смиреніе духа. Онъ теряется и недоумѣваетъ, когда не чувствуетъ за собой толпы, массы или не дѣйствуетъ по чьему-либо приказанію. Въ немъ слабо чувство личности, еще слабѣе стремленіе къ риску или упрямому долгому труду. Онъ готовъ браться за все, но охладѣваетъ такъ же быстро, какъ и возгарается. Въ первый день у него восторги и увлеченія, на второй—уныніе и сознаніе ненужности всего—начатаго дѣла, самого себя, мірозданія. Правильно замѣчено, что русскій человѣкъ дѣлаетъ все такъ, какъ будто сроку его жизни—одинъ день, а нѣмецъ—такъ, какъ будто сроку его жизни—лѣтъ сто, пожалуй и больше. Убѣждаясь постепенно въ безплодности своей иниціативы, русскій въ концѣ концовъ смиряется передъ силой, которая берется руководить имъ.

Если эта характеристика справедлива, то въ лицѣ Новикова мы имѣемъ блестящее исключеніе. Обладая сравнительно небольшими средствами, онъ всегда брался за великія дѣла и, что всего важнѣе, никогда не останавливался на полъ-пути. Начавши по обычаю свою карьеру офицеромъ, онъ скоро оставилъ торную дорогу и

принялся за изданіе сатирическихъ журналовъ, изъ которыхъ «Живописецъ» былъ лучшимъ не только въ свое время, но и вообще вплоть до нашего времени. Переѣхавъ въ Москву, Новиковъ немедленно же основалъ «Дружеское Общество» и наводнилъ своими прекрасными изданіями читающую по складамъ Россію. Вліяніе его энергичной нравственной личности на людей было велико, онъ умѣлъ возбуждать преданность къ себѣ, умѣлъ сплачивать вокругъ себя самые разнообразные элементы, умѣлъ для каждаго найти подходящее дѣло и привязать человѣка къ этому дѣлу на всю жизнь. Разумѣется, онъ оказался опаснымъ и, какъ таковой, былъ приговоренъ даже къ смерти, но милостивая резолюція заключила его въ крѣпость безъ срока.

На Карамзина однако Новиковъ особеннаго вліянія не оказалъ, въ чемъ, по моему мнѣнію, виновата поверхностная, хотя несомнѣнно даровитая натура нашего исторіографа. Самъ Карамзинъ о Новиковѣ отзывался такъ:

«Новиковъ въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ сдѣлался извѣстенъ публикѣ своимъ отличнымъ авторскимъ дарованіемъ: безъ воспитанія, безъ ученія, писалъ остроумно, пріятно и съ цѣлью нравственною; издалъ многія полезныя творенія, напримѣръ: «Древнюю Россійскую Вивліоѳику», «Дѣтское Чтеніе», разныя экономическія учебныя книги. Императрица Екатерина II-я одобряла труды Новикова и въ журналѣ его («Живописцѣ») напечатаны нѣкоторыя произведенія собственнаго пера ея. Около 1785 года онъ вошелъ въ связь по масонству съ берлинскими теософами и сдѣлался въ Москвѣ начальникомъ такъ называемыхъ мартинистовъ, которые были (или суть) не что иное, какъ христіанскіе мистики: толковали природу и человѣка, искали таинственнаго смысла въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ, хвалились древними преданіями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинныхъ христіанскихъ добродѣтелей отъ учениковъ своихъ, не вмѣшивались въ политику и ставили въ законъ вѣрность къ государю. Ихъ общество, подъ именемъ масонства, распространилось не только въ двухъ столицахъ, но и въ губерніяхъ; открывались ложи; выходили книги масонскія, мистическія, наполненныя загадками. Въ то же время Новиковъ и друзья его на свое иждивеніе воспитывали бѣдныхъ молодыхъ людей, учили ихъ въ школахъ, въ университетахъ; вообще употребляли не малыя суммы на благотворенія».

Изъ этихъ словъ видно, какъ неглубоко понялъ Карамзинъ Новикова и его масонство, иначе бы онъ не говорилъ объ униженіи школьной мудрости, какъ объ одномъ изъ пунктовъ программы сво-

его учителя. Не школьная мудрость была ненавистна Новикову, а формализмъ образованія, все равно какъ въ самомъ масонствѣ онъ всегда не долюбливалъ тѣ внѣшніе знаки и обряды, которыми держались и разъединялись ложи каменщиковъ. Какъ масонъ, Новиковъ мечталъ о той утопіи, которая тревожитъ людей и въ наше время,— о чистомъ христіанствѣ, такомъ т. е., какимъ оно завѣщано Христомъ и подъ чьимъ знаменемъ могли бы объединиться люди безъ различія національностей и церквей. Наперекоръ духу своего времени Новиковъ былъ человѣкомъ въ высокой степени религіознымъ; его поражала и мучила ненависть католика къ протестанту и ненависть протестанта къ православному. Создать единое христіанское стадо было его конечной цѣлью, оттого-то обрядъ формы такъ тяготилъ его. Но чтобы люди составили едино стадо — ихъ надо просвѣщать, и Новиковъ потратилъ на это просвѣщеніе всѣ свои силы, средства и жизнь. Карамзинъ (ему, замѣтимъ, было въ 85 г. только 18 л.) не понялъ Новикова, а Новиковъ понялъ его и сразу нашелъ для него подходящее дѣло. Онъ предложилъ ему переводы разныхъ иностранныхъ сочиненій по педагогикѣ. Карамзинъ согласился, находя, что такое занятіе для него очень полезно, такъ какъ выработаетъ изъ него хорошаго переводчика.

Въ результатѣ появилось «Дѣтское Чтеніе».

«Дѣтскимъ Чтеніемъ» Карамзинъ завѣдывалъ не одинъ, а вмѣстѣ съ другомъ своимъ Петровымъ, личность котораго намъ неизвѣстна. Дмитріевъ говоритъ о немъ довольно обще, подчеркивая преимущественно его «просвѣщенность» и «благородство сердца», но какъ жилъ, чувствовалъ этотъ просвѣщенный и благородный человѣкъ—мы не знаемъ. «Петровъ—читаемъ мы у Дмитріева—знакомъ былъ съ древними и новыми языками; при глубокомъ знаніи отечественнаго слова одаренъ былъ необыкновеннымъ умомъ и способностью къ здравой критикѣ; но, къ сожалѣнью, ничего не писалъ для публики и упражнялся только въ переводахъ. Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей доли жолчи, другой-же угрюмъ, молчаливъ и подчасъ насмѣшливъ; но оба питали равную страсть къ познаніямъ, къ изящному, и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею у Меншиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ».

Въ взаимныхъ отношеніяхъ друзей Петровъ повидимому игралъ роль руководителя. Карамзинъ въ патетической статьѣ своей, озаглавленной «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона», т. е. Петрова, говоритъ между прочимъ:

«Я нашелъ въ немъ то, что съ самаго ребячества было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія,—человѣка, которому могъ я открывать всѣ милыя свои надежды, всѣ тайныя сомнѣнія; который могъ разсуждать и чувствовать со мною, показывать мнѣ мои заблужденія и научать меня не повелительнымъ голосомъ учителя, но съ любезною кротостью снисходительнаго друга; однимъ словомъ, я нашелъ въ немъ сокровище, особливый даръ неба, который не всякому смертному въ удѣлъ достается, и время нашего знакомства, нашего дружества будетъ всегда важнѣйшимъ періодомъ жизни моей».

Въ своихъ письмахъ Петровъ даетъ Карамзину почти отеческія наставленія, совѣтуетъ лечиться отъ скуки работой, не жаловаться на судьбу и не представлять свое положеніе черезчуръ мрачнымъ. Иногда онъ добродушно подшучивалъ надъ своимъ другомъ, напр.: «будучи великій жени (геній), ты столько превознесся надъ мелочами, что въ трехъ строкахъ сдѣлалъ пять ошибокъ противъ нѣмецкаго языка. Пожалуй, употреби въ пользу сіе дружеское замѣчаніе и лучше пиши все сочиненіе на русско-словянскомъ языкѣ, долго—сложно—протяжно парящими словами». О себѣ Петровъ одинаково отзывается всегда съ добродушнымъ юморомъ, увѣряя, что онъ лично никуда не годится, даже мышей ловить.

Въ письмахъ и переводахъ Петрова бросается прежде всего въ глаза прекрасный, чистый и удивительно простой языкъ, на которомъ положительно отдыхаешь, утомленный реторикой и цвѣтами стиля того времена. Посмотрите напр., какъ пишетъ Карамзинъ о своихъ отношеніяхъ къ другу: «Часто духъ нашъ на крыльяхъ воображенія облеталъ небесныя пространства, гдѣ Оріонъ и Сиріусъ въ златыхъ вѣнцахъ сіяютъ; тамъ искали мы нѣжныхъ друзей своему сердцу, и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я разставался съ Агатономъ и возвращался домой съ покойною душою съ новыми знаніями или съ новыми идеями».

Невольно воскликнешь: «Боже! да чего тутъ только нѣтъ! И Оріонъ, и Сиріусъ, и крылья воображенія, и златые вѣнцы!» Или изъ того-же Карамзина:

«Вѣрный вкусъ друга моего былъ для меня свѣтильникомъ въ искусствѣ и поэзіи. Восхищенный красотой цвѣтовъ, растущихъ на семъ полѣ, дерзалъ я иногда младенческими руками образовать нѣчто подобное онымъ и незрѣлыя свои мысли изливать на бумагу».

Сравните съ этими дѣланными фразами простыя, сильныя фразы Петрова, который, если не считать Кантемира, первый сталъ писать разговорнымъ языкомъ, и вы не затруднитесь, чему отдать

предпочтеніе. «Что касается до меня, то я по отпускѣ сего письма живъ и здоровъ,—пишетъ напр. Петровъ,—но знаю это потому только, что ѣмъ, пью и сплю попеременно, иныхъ же знаковъ жизни никакихъ не предвидится..» Или: «простота чувствованія — превыше всякаго умничанья: грѣшно сравнивать натуру (природу) съ педантскими подражаніями, натянутыми поддѣлками низшихъ умовъ».

Несомнѣнно, что Петровъ первый заинтересовалъ Карамзина Шекспиромъ и совѣтовалъ ему переводить его драмы на русскій языкъ; то-же вѣроятно можно сказать и относительно Лессинга.

Петровъ былъ тѣмъ, что̀ въ наши дни принято называть трезвымъ умомъ. Онъ стремился къ полезному, не терпѣлъ ни фразъ, ни излишней чувствительности, въ самыхъ увлеченіяхъ своихъ онъ не разставался съ добродушной ироніей. Его вліяніе на Карамзина, особенно на слогъ послѣдняго, несомнѣнно. Къ сожалѣнію, это все, что̀ мы можемъ сказать о немъ. Петровъ рано умеръ, реторика Карамзина никакихъ основательныхъ свѣдѣній намъ о немъ не сохранила.

Четыре года пробылъ Карамзинъ среди членовъ «Дружескаго Общества», постоянно занимаясь литературой. Кромѣ статей для «Дѣтскаго Чтенія» онъ переводилъ философскіе и мистическіе трактаты, напримѣръ «Размышленія» Штурма, сочиненія Галлера «О происхожденіи зла» и мн. др. Впрочемъ, какъ уже было замѣчено выше, вліяніе масоновъ «Дружескаго Общества» на Карамзина было слабо и поверхностно. Что̀ дѣлалъ онъ въ «Дѣтскомъ Чтеніи»? Главнымъ образомъ переводилъ, но однажды рискнулъ создать нѣчто оригинальное, въ результатѣ чего и появилась «Русская старинная повѣсть: Евгеній и Юлія». Это была первая «чувствительная повѣсть» на нашемъ языкѣ, почему и ознакомимся съ ея содержаніемъ:

«Г-жа Л. удалилась изъ Москвы въ деревню, гдѣ жила въ полномъ уединеніи съ Юліей, дочерью умершей своей пріятельницы. Весну и лѣто проводили онѣ въ наслажденіяхъ «пріятностями природы». Когда же наступала пасмурная осень и чернымъ мракомъ все твореніе покрывала, или свирѣпая зима, отъ сѣвера несущаяся, потрясала міръ бурями своими, когда въ нѣжное Юліино сердце вкрадывалась томная меланхолія и тихими вздохами колебала ея грудь, тогда брались за книги, безсмертныя творенія истинныхъ философовъ для пользы рода человѣческаго, тогда читали и перечитывали письма любезнаго Евгенія, учившагося въ чужихъ краяхъ. Иногда при чтеніи сихъ писемъ глаза Юліины наполнялись слезами пріятными любви и почтенія къ благоразумному и добросердечному

юношѣ. «Ахъ, когда онъ къ намъ пріѣдетъ?—часто говаривала г-жа Л.,—какъ счастлива буду я, когда его увижу, прижму къ своему сердцу и тебя съ нимъ вмѣстѣ, Юлія».

«Наконецъ онъ пріѣхалъ. Дружба его къ Юліи обратилась въ пламенную любовь. Онъ подарилъ ей множество книгъ французскихъ, италіянскихъ и нѣмецкихъ. Юлія прекрасно играла на клавесинѣ и пѣла. Особенно нравилась ей пѣснь Клопштока, къ которой музыку сочинилъ Глюкъ. Евгеній и Юлія часто гуляли при свѣтѣ луны, разсматривали звѣздное небо и дивились величеству Божію; внимая шуму водопада, разсуждали о безсмертіи. Сколько высокихъ, нѣжныхъ мыслей сообщали они другъ другу, бывъ оживлены духомъ натуры».

«Когда Евгенію минуло двадцать два года, а Юліи — двадцать одинъ, они открылись другъ другу во взаимной любви, г-жа Л. была въ восторгѣ. Но—увы! — прочное счастіе рѣдко существуетъ въ свѣтѣ. Евгеній заболѣлъ горячкою и въ девятый день умеръ».

«Одинъ молодой, чувствительный человѣкъ, проѣзжавшій чрезъ деревню г-жи Л. и слышавшій сію печальную повѣсть, посѣтилъ гробъ Евгеніевъ, и на бѣломъ камнѣ, лежавшемъ между цвѣтовъ на могилѣ, написалъ карандашомъ слѣдующую эпитафію, которая послѣ была вырѣзана на особливомъ мраморномъ камнѣ:

Сей райскій цвѣтъ не могъ въ семъ мірѣ распуститься—
Увялъ, изсохъ, опалъ—и въ рай былъ пренесенъ».

Въ 1787 г. Карамзинъ перевелъ трагедію Шекспира «Юлій Цезарь», издалъ ее и предпослалъ переводу очень характерное примѣчаніе. Здѣсь онъ называетъ Шекспира «однимъ изъ тѣхъ великихъ духовъ, коими славятся вѣки». Онъ говоритъ далѣе, что «время, сей могущественный истребитель всего того, что подъ солнцемъ находится, не могло еще доселѣ затмить изящность и величіе Шекспировскихъ твореній. Каждая степень людей, каждый возрастъ, каждая страсть, каждый характеръ говоритъ у него собственнымъ своимъ языкомъ. Что Шекспиръ не держался правилъ театральныхъ—правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображеніе, не могшее покориться никакимъ предписаніямъ; духъ его парилъ яко орелъ и не могъ паренія своего измѣрить тою мѣрою, которою измѣряютъ полетъ свой воробьи»...

Надо согласиться, что было смѣлымъ и прекраснымъ дѣломъ высказывать такія мысли русскому обществу, выросшему на трагедіяхъ Сумарокова, почитавшаго себя превыше господина Вольтера и соблюдавшаго всѣ три «единства» — времени, мѣста и дѣйствія.

Свой восторгъ передъ Шекспиромъ Карамзинъ излилъ также въ слѣдующемъ положительно недурномъ стихотвореніи:

«Шекспиръ, натуры другъ! кто лучше твоего
Позналъ сердца людей? Чья кисть съ такимъ искусствомъ
Живописала ихъ? Во глубинѣ души
Нашелъ ты ключъ къ великимъ тайнамъ рока
И свѣтомъ своего безсмертнаго ума,
Какъ солнцемъ, озарилъ пути ночные жизни:
Всѣ башни, коихъ верхъ скрывается отъ глазъ,
Въ туманѣ облаковъ огромные чертоги,
И всякій гордый храмъ исчезнутъ какъ мечта—
Въ теченіе вѣковъ и мѣста ихъ не сыщемъ—
Но ты, великій мужъ, пребудешь незабвенъ.

Вскорѣ послѣ «Юлія Цезаря» Карамзинъ перевелъ и знаменитую трагедію Лессинга «Эмилія Галотти».

Изъ всего этого видно, что его занятія, интересы, даже знакомства были чисто литературными. Политикой онъ совершенно не интересовался, и великолѣпныя утопіи царствованія Екатерины даже не тронули его. Онъ не мечталъ вмѣстѣ съ Бецкимъ о созданіи новой породы людей, не стремился вмѣстѣ съ Суворовымъ и Потемкинымъ подъ стѣны Константинополя, чтобы возстановить великую Византійскую Имперію и водрузить крестъ вмѣсто полумѣсяца на куполѣ Софійскаго собора. Передъ нами скромный труженикъ, всегда привѣтливый, добрый, съ любезною склонностью къ меланхоліи. Онъ мечталъ лишь о томъ, чему суждено было скоро осуществиться—о заграничномъ путешествіи.

Передъ отъѣздомъ въ чужія земли Карамзинъ порвалъ всякія связи съ масонами «Дружескаго Общества».

«Я—разсказывалъ онъ впослѣдствіи Гречу—былъ обстоятельствами вовлеченъ въ это общество въ молодости моей и не могъ не уважать въ немъ людей, искренно и безкорыстно искавшихъ истины и преданныхъ общеполезному труду. Но я никакъ не могъ раздѣлить съ ними убѣжденія, будто для этого нужна какая-либо таинственность,—и не могли мнѣ нравиться ихъ обряды, которые всегда казались мнѣ нелѣпыми. Передъ моею поѣздкою за-границу я откровенно заявилъ въ этомъ обществѣ, что, не переставая питать уваженіе къ почтеннымъ членамъ его и признательность за ихъ постоянное доброе ко мнѣ расположеніе, я однакожъ по собственному убѣжденію принимать далѣе участіе въ ихъ собраніяхъ не буду, и долженъ проститься. Отвѣтъ ихъ былъ благосклонный; сожалѣли, но не удерживали, и на прощанье дали мнѣ обѣдъ. Мы разстались дружелюбно».

III.

Поѣздка за-границу.—«Письма Русскаго Путешественника».

Для русскаго человѣка поѣздка за-границу была далеко не обычнымъ явленіемъ въ XVIII вѣкѣ. Такая поѣздка требовала и значительныхъ средствъ, и знанія иностранныхъ языковъ, и сравнительно высокаго умственнаго развитія. Все это было у Карамзина, и въ маѣ мѣсяцѣ 1789 года онъ выѣхалъ наконецъ изъ столицы въ дорожномъ дормёзѣ съ любимыми книгами въ чемоданѣ. Петровъ провожалъ его до заставы. «Тамъ—разсказываетъ намъ путешественникъ—обнялись мы съ нимъ и еще въ первый разъ видѣлъ я слезы его;—тамъ сѣлъ я въ кибитку, взглянулъ на Москву, гдѣ оставалось для меня столько любезнаго, и сказалъ: «прости!» Колокольчикъ зазвенѣлъ, лошади помчались и другъ вашъ осиротѣлъ въ мірѣ, осиротѣлъ въ душѣ своей...» Что́ же такъ сильно тянуло Карамзина за-границу? Думалъ ли онъ изучать промышленность и торговлю, общественныя или политическія учрежденія, нравы и обычаи европейскихъ народовъ?—Ни то, ни другое, ни третье. Его манила неизвѣстность, всегда таинственная для молодого человѣка, манила чужая природа, горы Швейцаріи, синяя вода Женевскаго озера, шумъ великаго города, красиво раскинувшагося на монтмартрскихъ холмахъ, а главнымъ образомъ ему хотѣлось ознакомиться съ великими людьми, чьи произведенія онъ читалъ въ Россіи, кого привыкъ уважать и любить. Болѣе поверхностнаго наблюдателя, чѣмъ Карамзинъ, трудно даже найти; но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно найти и болѣе интереснаго автора записокъ, особенно у насъ, въ Россіи. «Письма Русскаго Путешественника» Карамзина и «Письма объ Испаніи» Боткина несомнѣнно самыя изящныя произведенія нашихъ туристовъ. Объясняя цѣль своего путешествія, Карамзинъ говоритъ: «*Пріятно* и *весело*, друзья мои, переѣзжать изъ одной земли въ другую, видѣть новые предметы, съ которыми, кажется, самая душа наша обновляется и чувствуетъ неоцѣненную свободу человѣка, по которой онъ подлинно можетъ назваться царемъ земного творенія». *Пріятными* и *веселыми* вышли и «Письма Русскаго Путешественника». Не ищите въ нихъ только ничего особенно глубокаго, и они несомнѣнно даже и теперь доставятъ вамъ значительное удовольствіе.

Карамзинъ пробылъ за-границей около 1½ года, отъ мая 89 г. до сентября 90 г. Онъ посѣтилъ Германію, Францію, Швейцарію и Англію. Главныя мѣста, гдѣ онъ дольше другихъ останавливался, были: Берлинъ, Лейпцигъ, Женева, Парижъ и Лондонъ.

Первый замѣчательный человѣкъ, котораго посѣтилъ Карамзинъ въ Кёнигсбергѣ, былъ великій философъ Эммануилъ Кантъ. Полагаю, что встрѣча съ нимъ—самая интересная изъ всѣхъ встрѣчъ нашего путешественника, почему и привожу ея описаніе полностью.

«Меня—разсказываетъ Карамзинъ—встрѣтилъ маленькій, худенькій старичокъ, отмѣнно бѣлый и нѣжный. Первыя слова мои были: «я—русскій дворянинъ, люблю великихъ мужей и желаю изъявить мое почтеніе Канту». Онъ тотчасъ попросилъ меня сѣсть, говоря: «я писалъ такое, что̀ не можетъ нравиться всѣмъ, немногіе любятъ метафизическія тонкости».

«Съ полчаса поговорили мы о разныхъ вещахъ: о путешествіяхъ, о Китаѣ, объ открытіи новыхъ земель. Надобно было удивляться его историческимъ и географическимъ знаніямъ, которыя, казалось, могли бы одни загромоздить магазинъ человѣческой памяти, но это у него, какъ нѣмцы говорятъ, дѣло постороннее. Потомъ *я, не безъ скачка, обратилъ разговоръ на природу и нравственность человѣка*; и вотъ что могъ удержать въ памяти изъ его разсужденій:

«Дѣятельность есть наше опредѣленіе. Человѣкъ не можетъ быть никогда совершенно доволенъ обладаемымъ, и стремится всегда къ пріобрѣтеніямъ. Смерть застаетъ насъ на пути къ чему-нибудь, что̀ мы еще имѣть хотимъ. Дай человѣку все, чего желаетъ; но онъ въ ту же минуту почувствуетъ, что это *все* не есть *все*. Не видя цѣли или конца стремленія нашего въ здѣшней жизни, полагаемъ мы будущую, гдѣ узлу надобно развязаться. Сія мысль тѣмъ пріятнѣе для человѣка, что здѣсь нѣтъ никакой соразмѣрности между радостями и горестями, между наслажденіемъ и страданіемъ. Я утѣшаюсь тѣмъ, что мнѣ уже шестьдесятъ лѣтъ, и скоро придетъ конецъ жизни моей; ибо надѣюсь вступить въ другую, лучшую. Помышляя о тѣхъ услажденіяхъ, которыя имѣлъ я въ жизни, не чувствую теперь удовольствія; но, представляя себѣ тѣ случаи, гдѣ дѣйствовалъ сообразно съ *закономъ нравственнымъ*, начертаннымъ у меня въ сердцѣ, радуюсь. Говорю о *нравственномъ законѣ*: назовемъ его совѣстію, чувствомъ добра и зла — но онъ *есть*. Я солгалъ; никто не знаетъ лжи моей, но мнѣ стыдно.—Вѣроятность не есть очевидность, когда мы говоримъ о будущей жизни; но, сообразивъ все, разсудокъ велитъ намъ вѣрить ей. Да и что̀ бы съ нами было, когда бы мы, такъ сказать, *глазами увидѣли ее*? Еслибы она намъ очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынѣшнею жизнію и были въ безпрестанномъ томленіи; а въ противномъ случаѣ не имѣли бы утѣшенія сказать себѣ въ горестяхъ

здѣшней жизни: *авось тамъ будетъ лучше*!—Но говоря о нашемъ опредѣленіи, о жизни будущей и проч., предполагаемъ уже бытіе Всевѣчнаго творческаго разума, все для чего нибудь создавшаго и всему благотворящаго. Что? какъ?... Но здѣсь первый мудрецъ признается въ своемъ невѣжествѣ. Здѣсь разумъ погашаетъ свѣтильникъ свой, и мы во тьмѣ остаемся; одна фантазія можетъ носиться во тьмѣ сей и творить несобытное».

«Почтенный мужъ,—заключаетъ Карамзинъ свое изложеніе,—прости, если въ сихъ строкахъ обезобразилъ я мысли твои».

Изъ Кёнигсберга Карамзинъ отправился въ Берлинъ, гдѣ посѣтилъ знаменитаго въ прошломъ столѣтіи книгопродавца Николаи, друга и издателя Лессинга. Разговоръ зашелъ о происходившей въ то время ожесточенной полемикѣ между католиками и протестантами. Нашъ путешественникъ предается слѣдующимъ разсужденіямъ о вѣротерпимости: «Гдѣ—говоритъ онъ—искать терпимости, если сами философы, самые просвѣтители—а они такъ себя называютъ,—оказываютъ столько ненависти тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они? Тотъ есть для меня истинный философъ, *кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ*, кто любитъ и несогласныхъ съ его образомъ мыслей». Въ этихъ словахъ никакъ нельзя не отмѣтить излишняго добродушія. Терпимость къ чужому мнѣнію — вещь прекрасная, но если чужое мнѣніе прокладываетъ себѣ дорогу костромъ и висѣлицами, пытками и тюрьмами, если оно неискренне, если оно заботится не объ истинѣ, а о томъ, чтобы какими-бы то ни было средствами заставить замолчать своего противника, то терпимость къ нему становится прямо преступной. Во всякомъ случаѣ подчеркнутыя слова характерны для Карамзина.

Въ Берлинѣ-же Карамзинъ посѣтилъ театръ и плакалъ, смотря драму Коцебу «Ненависть къ людямъ и раскаяніе». Описывая свои впечатлѣнія, онъ роняетъ глубокія слова, припомнить которыя нелишне еще и теперь: «Я думаю, что у нѣмцевъ не было-бы такихъ актеровъ, если-бы не было у нихъ Лессинга, Гёте, Шиллера и другихъ драматическихъ авторовъ, которые съ такой живостью представляютъ въ драмахъ своихъ человѣка, каковъ онъ есть, отвергая всѣ излишнія украшенія или французскія румяна, которыя человѣку съ естественнымъ вкусомъ не могутъ быть пріятны. Читая Шекспира, читая лучшія нѣмецкія драмы, я живо воображаю себѣ, какъ надобно играть актеру и какъ что произнесть, но при чтеніи французскихъ трагедій рѣдко могу представить себѣ, какъ можно въ нихъ хорошо играть актеру или такъ, чтобы меня тронуть».

Въ іюлѣ Карамзинъ былъ уже въ Саксоніи. Интересенъ разговоръ, который онъ велъ по дорогѣ изъ Мейсена въ Лейпцигъ о *безсмертіи души.*

«Федонъ—сказалъ спутникъ (студентъ)—есть можетъ быть самое остроумнѣйшее философическое сочиненіе; однакожъ всѣ доказательства безсмертія нашего основываетъ авторъ на одной гипотезѣ. Много вѣроятности, но нѣтъ увѣренія; и едва-ли не тщетно будемъ искать его въ твореніяхъ древнихъ и новыхъ философовъ. — *Надобно искать въ сердцѣ, сказалъ я.* — «О, государь мой! возразилъ студентъ: *сердечное* увѣреніе не есть еще *философическое* увѣреніе, оно не надежно; теперь чувствуете его, а черезъ минуту оно исчезнетъ, и вы не найдете его мѣста. Надобно, чтобы увѣреніе основывалось на доказательствахъ, на тѣхъ врожденныхъ понятіяхъ чистаго разума, въ которыхъ заключаются всѣ вѣчныя необходимости истины... Сего то увѣренія ищетъ метафизикъ въ уединенныхъ сѣняхъ, во мракѣ ночи, при слабомъ свѣтѣ лампады, забывая сонъ и отдохновеніе.—Ежели бы могли мы узнать точно, что̀ такое есть душа сама въ себѣ, то намъ все бы открылось; но.....» Тутъ вынулъ я изъ записной книжки своей одно письмо добраго Лафатера и прочиталъ студенту слѣдующее: «Глазъ по своему образованію не можетъ смотрѣть на себя безъ зеркала. Мы созерцаемся только въ другихъ предметахъ. Чувство бытія, личность, душа—все сіе существуетъ единственно потому, что внѣ насъ существуетъ,—по феноменамъ или явленіямъ, которыя до насъ касаются».

Разговоръ оборвался на половинѣ, но все же въ возраженіяхъ Карамзина можно различить отдаленный отзвукъ масонскихъ рѣчей и взглядовъ.

Въ Лейпцигѣ, увидя могилу Геллерта, Карамзинъ проявилъ всю свою нѣжную чувствительность. Произошла сцена во вкусѣ нашихъ прадѣдовъ. Трактирщикъ позвалъ ужинать Карамзина, только что вернувшагося съ кладбища. «Нѣтъ, г. Мемель, – воскликнулъ тотъ,—я не пойду ужинать. Сяду подъ окномъ, буду читать Вейссеву элегію на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову оду, буду читать, чувствовать и—можетъ быть плакать. Нынѣшній вечеръ посвящу памяти добродѣтельнаго. Онъ здѣсь жилъ и училъ добродѣтели».

Наконецъ Карамзинъ достигъ жилища олимпійцевъ, какъ тогда называли Веймаръ. «Здѣсь-ли Виландъ? Здѣсь-ли Гердеръ? Здѣсь-ли Гёте?»—были его первыми нетерпѣливыми вопросами. Ему отвѣчали, что здѣсь, и онъ немедленно же полетѣлъ къ Гердеру «на крыльяхъ своей восторженности». Однако свиданія съ Гердеромъ и Виландомъ не дали Карамзину ничего особенно новаго. и дѣло кон-

чилось лишь тѣмъ, что онъ удовлетворилъ свою страсть лицезрѣть знаменитыхъ и прославленныхъ людей. Характеренъ впрочемъ разговоръ съ Виландомъ,—другомъ и одно время даже соперникомъ Гёте, авторомъ безчисленныхъ стихотвореній и поэмъ, теперь совершенно и справедливо забытыхъ. Приводимъ этотъ разговоръ съ сокращеніями.

«Простите,—сказалъ, входя, Карамзинъ,—если давешнее мое посѣщеніе было для васъ не совсѣмъ пріятно. Надѣюсь, что вы не сочтете наглостію того, что̀ было дѣйствіемъ энтузіазма, произведеннаго во мнѣ вашими прекрасными сочиненіями».—«Вы не имѣете нужды извиняться, отвѣчалъ онъ: я радъ, что этотъ жаръ къ поэзіи такъ далеко распространяется, тогда какъ онъ въ Германіи пропадаетъ».—Тутъ сѣли мы на канапэ. Начался разговоръ, который минута отъ минуты становился живѣе и для меня занимательнѣе. Говоря о любви своей къ поэзіи, сказалъ онъ: «Еслибы судьба опредѣлила мнѣ жить на пустомъ островѣ, то я написалъ бы все то же, и съ такимъ же стараніемъ вырабатывалъ бы свои произведенія, думая, что музы слушаютъ мои пѣсни». Онъ желалъ знать, пишу ли я? и не переведено ли что-нибудь изъ моихъ бездѣлокъ на нѣмецкій? Я сыскалъ въ записной своей книжкѣ переводъ «*Печальной Весны*». Прочитавъ его, сказалъ онъ: «Жалѣю, если вы часто бываете въ такомъ расположеніи, какое здѣсь описано. Скажите,—потому что теперь вы вселили въ меня желаніе узнать васъ короче,—скажите, что̀ у васъ въ виду?» «*Тихая жизнь*, отвѣчалъ я. Окончивъ свое путешествіе, которое предпринялъ единственно для того, чтобы собрать нѣкоторыя пріятныя впечатлѣнія и обогатить свое воображеніе новыми идеями, буду жить въ мирѣ съ натурою и съ добрыми друзьями, любить изящное и наслаждаться имъ».—«Кто любитъ музъ и любимъ ими, сказалъ Виландъ, тотъ въ самомъ уединеніи не будетъ празденъ и всегда найдетъ для себя пріятное дѣло. Онъ носитъ въ себѣ источникъ удовольствія, творческую силу свою, которая дѣлаетъ его счастливымъ».

Такіе взгляды конечно были какъ нельзя болѣе пріятны Карамзину, который самъ себя называлъ любителемъ музъ и рѣшительно ничѣмъ не интересовался кромѣ литературы и поэзіи.

Но вотъ и Швейцарія, страна свободы. «Какія мѣста! Какія мѣста!—восклицаетъ нашъ путешественникъ.—Отъѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цвѣтущій берегъ зеленаго Рейна и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю. Счастливые швейцары! всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры,

подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть конечно пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла (т. е. смерть) должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями»!..

Этотъ реторическій гимнъ швейцарской свободѣ является нѣсколько неожиданнымъ, но Карамзинъ никакъ не могъ противодѣйствовать искушенію написать красивый и звучный періодъ по поводу такого красиваго и звучнаго слова, какъ «свобода». Впрочемъ восторгъ по адресу послѣдней было общимъ мѣстомъ въ литературѣ прошлаго вѣка, и лишь гораздо позже люди стали отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что̀ собственно значитъ это красивое и звучное слово. Какъ бы тамъ ни было, легко представить себѣ, какое впечатлѣніе должны были производить музыкальныя фразы Карамзина на современниковъ. Они читали Вольтера и Руссо, они восторгались «красотами натуры» и «простотою нравовъ», они любили общія мѣста и нѣжную чувствительность, все это въ изобиліи преподносилось имъ, и притомъ въ самой изящной формѣ...

Въ Цюрихѣ Карамзинъ навѣстилъ Лафатера, имя котораго было въ то время очень громкимъ, и велъ съ нимъ бесѣды преимущественно на философическія темы. Разумѣется, онъ предложилъ тотчасъ любимый свой вопросъ: «какая есть всеобщая цѣль бытія нашего, равно достижимая для мудрыхъ и слабоумныхъ?» Лафатеръ отвѣчалъ: «бытіе есть цѣль бытія.—Чувство и радость бытія есть цѣль всего, чего мы искать можемъ». Но этимъ умнымъ отвѣтомъ нашъ путешественникъ остался почему-то недоволенъ.

Величественная красота швейцарской природы произвела на Карамзина сильное впечатлѣніе, и, надо отдать ему справедливость, онъ умѣлъ описывать ее такъ, какъ никто до него въ Россіи. Посмотрите напримѣръ, какъ разукрашено его легкимъ перомъ описанія экскурсіи на горныя вершины:

«Въ четыре часа разбудилъ меня проводникъ мой. Я вооружился геркулесовскою палицею—пошелъ—съ благоговѣніемъ ступилъ первый шагъ на Альпійскую гору и съ бодростію началъ взбираться на крутизны. Утро было холодно; но скоро почувствовалъ я жаръ и скинулъ съ себя теплый сюртукъ. Черезъ четверть часа усталость подкосила ноги мои — и потомъ каждую минуту надлежало мнѣ отдыхать. Кровь моя волновалась такъ сильно, что мнѣ можно было слышать біеніе своего пульса. Я прошелъ мимо громады большихъ камней, которые за десять лѣтъ передъ симъ свалились съ вершины горы и могли бы превратить въ пыль цѣлый городъ. Почти безпрестанно слышалъ я глухой шумъ, происхо-

дящій отъ катящагося съ горъ снѣга. Горе тому несчастному страннику, который встрѣтится симъ падающимъ снѣжнымъ кучамъ! Смерть его неизбѣжна.—Болѣе четырехъ часовъ шелъ я все въ гору, по узкой каменной дорожкѣ, которая иногда совсѣмъ пропадала; наконецъ достигъ до цѣли своихъ пламенныхъ желаній и ступилъ на вершину горы, гдѣ вдругъ произошла во мнѣ удивительная перемѣна. Чувство усталости исчезло; силы мои возобновились; дыханіе мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствіе и радость разлились въ моемъ сердцѣ. Я преклонилъ колѣна, устремилъ взоръ свой на небо и принесъ жертву сердечнаго моленія — Тому, кто въ сихъ гранитахъ и снѣгахъ напечатлѣлъ столь явственно свое всемогущество, свое величіе, свою вѣчность!.. Друзья мои! я стоялъ на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могутъ для поклоненія Всевышнему!.. *Языкъ мой не могъ произнести ни одного слова; но я никогда такъ усердно не молился, какъ въ сію минуту*».

Будучи въ Лозаннѣ, Карамзинъ очень умѣстно припомнилъ Руссо и разсказалъ о его «Новой Элоизѣ». Руссо онъ любилъ особенно въ дни своей юности. Все привлекало его къ женевскому философу — и красивыя реторическія фразы, и нѣжная чувствительность, и религіозное настроеніе. «Недавно—пишетъ Карамзинъ—былъ я на островѣ св. Петра, гдѣ величайшій изъ писателей осьмого на десять вѣка укрывался отъ злобы и предразсужденій человѣческихъ, которыя, какъ фуріи, гнали его изъ мѣста въ мѣсто. День былъ очень хорошъ. Въ нѣсколько часовъ исходилъ я весь островъ и вездѣ искалъ слѣдовъ женевскаго гражданина и философа: здѣсь, думалъ я, здѣсь, забывъ жестокихъ и неблагодарныхъ людей... неблагодарныхъ и жестокихъ! Боже мой! какъ горестно это чувствовать и писать... здѣсь, забывъ всѣ бури мірскія, наслаждался онъ уединеніемъ и тихимъ вечеромъ жизни; здѣсь отдыхала душа его послѣ великихъ трудовъ своихъ; здѣсь въ тихой, сладостной дремотѣ покоились его чувства! Гдѣ онъ? Все осталось, какъ при немъ было; но его нѣтъ,—нѣтъ! Тутъ послышалось мнѣ, что и лѣсъ, и луга вздохнули, или повторили глубокій вздохъ моего сердца. Я смотрѣлъ вокругъ себя—и весь островъ показался мнѣ въ траурѣ. Печальный флеръ зимы лежалъ на природѣ.—Ноги мои устали. Я сѣлъ на краю острова. Бильское озеро свѣтлѣло и покоилось во всемъ пространствѣ своемъ; на берегахъ его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображеніе мое представило плывущую по зеркальнымъ водамъ лодку; зефиръ вѣялъ вокругъ ее и правилъ ею вмѣсто кормчаго. Въ лодкѣ лежалъ ста-

рецъ почтеннаго вида, въ азіятской одеждѣ; взоры его, на небеса устремленные, показывали великую душу, глубокомысліе, пріятную задумчивость. Это онъ, онъ, тотъ, кого выгнали изъ Франціи, Женевы, Нёшателя—какъ будто бы за то, что Небо одарило его отмѣннымъ разумомъ, что онъ былъ добръ, нѣженъ и человѣколюбивъ»...

Въ окрестностяхъ-же Лозанны Карамзину удалось оказать содѣйствіе «двумъ любящимъ сердцамъ, разъединеннымъ бѣдностью». Это довольно трогательное происшествіе, разсказъ о которомъ навѣрное долженъ былъ вызвать слезы на глаза нашихъ чувствительныхъ прабабокъ. Карамзинъ воспользовался своими знакомствами, и любящія сердца были соединены.

Въ Женевѣ нашъ путешественникъ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ и довольно близко сошелся съ забытымъ теперь философомъ Боннетомъ, авторомъ многихъ трактатовъ о нравственныхъ задачахъ жизни,—и думалъ даже перевести кое-что изъ его произведеній на русскій языкъ, но различныя занятія и хлопоты не позволили ему выполнить намѣренія.

Перевернемъ теперь нѣсколько десятковъ страницъ «Писемъ Русскаго Путешественника»,—страницъ, наполненныхъ тѣми-же изліяніями, восторгами, отрывочными впечатлѣніями или подернутыхъ грустью при мысли о разлукѣ съ друзьями, и откроемъ книгу на томъ мѣстѣ, гдѣ рѣчь идетъ о Парижѣ. Туда Карамзинъ прибылъ 27 марта 1790 года и попалъ въ самый разгаръ революціи. Бастилія была уже разрушена, могучій голосъ Мирабо гремѣлъ съ трибуны, феодализмъ былъ отмѣненъ, судьба стараго порядка, монархіи, церкви стояла на очереди. Но все это не произвело на него особеннаго впечатлѣнія, онъ даже не задумался надъ страшной исторической драмой, происходившей у него на глазахъ, не попытался отдать отчета въ ея грозномъ смыслѣ: его попрежнему интересуютъ прежде всего литература, искусство, самый городъ.

«Мы—пишетъ онъ напримѣръ—приближались къ Парижу, и я безпрестанно спрашивалъ, скоро ли увидимъ его? Наконецъ открылась обширная равнина, а на равнинѣ, во всю длину ея, Парижъ! Жадные взоры наши устремились на сію необозримую громаду зданій—и терялись въ ея густыхъ тѣняхъ. Сердце мое билось. Вотъ онъ (думалъ я) — вотъ городъ, который втеченіе многихъ вѣковъ былъ образцомъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ;—котораго имя произносится съ благоговѣніемъ учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невѣждами, въ Европѣ и въ Азіи, въ Америкѣ и въ Африкѣ;—котораго имя стало мнѣ извѣстно почти вмѣстѣ съ моимъ именемъ;—о которомъ такъ много читалъ я

въ романахъ, такъ много слыхалъ отъ путешественниковъ, такъ много мечталъ и думалъ!.. Вотъ онъ!.. я его вижу и буду въ немъ!—Ахъ, друзья мои! *сія минута была одною изъ пріятнѣйшихъ минутъ моего путешествія*! Ни къ какому городу не приближался я съ такими живыми чувствами, съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ нетерпѣніемъ!»

Онъ посѣщалъ театры, музеи, академіи. Былъ ли онъ хотя разъ на засѣданіяхъ Національнаго Собранія? Кажется, нѣтъ: это было не его дѣло. По поводу революціи онъ отдѣлывается мудрымъ размышленіемъ: «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ и въ самомъ несовершеннѣйшемъ надо удивляться порядку, гармоніи, благоустройству. Всякія насильственныя потрясенія гибельны и каждый бунтовщикъ готовитъ себѣ эшафотъ. Предадимъ, друзья мои, предадимъ себя во власть Провидѣнью: Оно конечно имѣетъ свой планъ: въ его рукѣ сердца государей и—довольно»...

Въ общемъ парижскія впечатлѣнія Карамзина сводятся къ очень немногому.

«Парижъ есть городъ единственный. Нигдѣ, можетъ быть, нельзя найти столько матерій для философскихъ наблюденій, какъ здѣсь; нигдѣ столько любопытныхъ предметовъ для человѣка, умѣющаго цѣнить искусства; нигдѣ столько разсѣяній и забавъ. Но гдѣ же и столько опасностей для философіи, особливо для сердца? Здѣсь тысячи сѣтей разставлены для всякой его слабости... Шумный океанъ, гдѣ быстрое стремленіе волнъ мчитъ васъ отъ Харибды къ Сциллѣ, отъ Сциллы къ Харибдѣ! Сиренъ множество, и пѣніе ихъ такъ сладостно, усыпительно... Какъ легко забыться, заснуть! Но пробужденіе едва-ли не всегда горестно—и первый предметъ, который явится глазамъ, будетъ пустой кошелекъ. Однакожъ не надобно себѣ воображать, что парижская пріятная жизнь очень дорога для всякаго: напротивъ того, здѣсь можно за небольшія деньги наслаждаться всѣми удовольствіями по своему вкусу. Я говорю о *позволенныхъ*, и въ строгомъ смыслѣ позволенныхъ удовольствіяхъ имѣть хорошую комнату въ лучшей отели; поутру читать разные журналы, газеты, гдѣ всегда найдешь что нибудь занимательное, жалкое, смѣшное; и между тѣмъ пить кофе, какого не умѣютъ варить ни въ Германіи, ни въ Швейцаріи; потомъ кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажетъ вамъ множество забавнаго вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафайетѣ, намажетъ вамъ голову прованскими духами и напудритъ самою бѣлою легкою пудрою; а тамъ, надѣвъ чистый простой фракъ, бродить по городу,

зайти въ Пале-Рояль, въ Тюльери, въ Елисейскія поля, къ извѣстному писателю, къ художнику, въ лавки, гдѣ продаются эстампы и картины,—къ Дидоту, любоваться его прекрасными изданіями классическихъ авторовъ, обѣдать у ресторатёра, гдѣ подаютъ вамъ за рубль пять или шесть хорошо приготовленныхъ блюдъ съ дессертомъ; посмотрѣть на часы и расположить время свое до шести, чтобы осмотрѣть какую нибудь церковь, украшенную монументами, или галлерею картинную, или библіотеку, или кабинетъ рѣдкостей, явиться съ первымъ движеніемъ смычка въ оперѣ, въ комедіи, трагедіи, плѣняться гармоніею, балетомъ, смѣяться, плакать —и съ томною, но пріятныхъ чувствъ исполненною душою отдыхать въ Пале-Роялѣ за чашкою баваруаза, взглядывать на великолѣпное освѣщеніе лавокъ, аркадъ, аллей въ саду,—наконецъ возвратиться въ свою тихую комнату и заснуть глубокимъ сномъ съ пріятною мыслью о будущемъ.—Такъ я провожу жизнь и доволенъ»...

Покинувъ Парижъ, Карамзинъ отправился въ Англію, но мы уже не будемъ слѣдить за его путешествіемъ. Въ сентябрѣ 90 г. онъ вернулся въ Россію.

Таковы прославленныя «Письма Русскаго Путешественника», десятки разъ издававшіяся, прочтенныя нѣсколькими поколѣніями, умилявшія столько сердецъ. Что можемъ найти въ нихъ мы? Легкій и пріятный слогъ, легкій и пріятный разсказъ, нѣсколько мимоходомъ записанныхъ глубокихъ мыслей, немало мѣткихъ отзывовъ о произведеніяхъ искусства, столько-же красиво, хотя и реторически нарисованныхъ картинъ природы—и все. Съ болѣе серьезными требованіями къ этой книгѣ обращаться нельзя Она не введетъ насъ ни въ исторію своего времени, ни въ настроеніе тогдашняго общества. Умъ автора скользитъ по поверхности жизни и какъ-бы боится заглянуть въ ея таинственную глубину.

IV.

«Московскій Журналъ» и сборники.

Возвратясь въ Петербургъ осенью 1790 г. въ модномъ фракѣ, съ шиньономъ и гребнемъ на головѣ, съ лентами на башмакахъ, Карамзинъ введенъ былъ И. И. Дмитріевымъ къ Державину и умными, любопытными разсказами обратилъ на себя его вниманіе. Державинъ одобрилъ его намѣреніе издавать журналъ и обѣщалъ сообщать ему свои сочиненія.

Благодаря знакомству съ Державинымъ, Карамзинъ вступилъ въ высшее общество, гдѣ чувствовалъ себя какъ нельзя лучше, несмотря

на незначительные свои доходы и невысокое происхожденіе. Но онъ не оставилъ, разумѣется, и прежнихъ дружескихъ связей и первымъ дѣломъ навѣстилъ своего «Агатона» Петрова. «Наконецъ —пишетъ онъ—я возвратился—спѣшилъ обнять повѣреннаго моей души, воображалъ его пріятное удивленіе, его радость... но сердце мое замерло, когда я увидѣлъ Агатона. Долговременная болѣзнь напечатлѣла знаки изнеможенія на блѣдномъ лицѣ его; въ тусклыхъ взорахъ изображалось душевное и тѣлесное ослабленіе; огонь жизни простылъ въ его сердцѣ темномъ и мрачномъ. Едва могъ обрадоваться моему пріѣзду, едва могъ пожать руку мою: едва слабая, невольная улыбка блеснула на лицѣ его подобно лучу осенняго солнца». Петровъ быстро угасалъ, повидимому отъ чахотки, съ которой напрасно боролся его юный организмъ.

Но самъ Карамзинъ былъ полонъ силы, надеждъ и вѣры въ себя. Онъ рѣшился издавать журналъ, разсчитывая такимъ путемъ не только удовлетворить свою страсть къ литературѣ, но и обезпечить свое существованіе. О службѣ, бывшей тогда въ обычаѣ, онъ и не помышлялъ и отказался даже отъ легкой должности секретаря, предложенной ему Державинымъ при себѣ. Какъ бы то ни было, передъ нами первый кровный литераторъ, всегда разсчитывающій только на свое перо.

Характерно объявленіе, напечатанное Карамзинымъ, гдѣ онъ сообщаетъ публикѣ о своемъ намѣреніи издавать журналъ. Вотъ что писалъ онъ:

«Съ января будущаго 91 года намѣренъ я издавать журналъ, если почтенная публика одобритъ мое намѣреніе. Содержаніе сего журнала будутъ составлять:

«1) *Русскія сочиненія въ стихахъ и прозѣ*, такія, которыя, по моему увѣренію, могутъ доставить удовольствіе читателямъ. Первый нашъ поэтъ —нужно ли именовать его? — обѣщалъ украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы? Я получилъ отъ него нѣкоторыя новыя пѣсни. И другіе поэты, извѣстные почтенной публикѣ, сообщили и будутъ сообщать мнѣ свои произведенія. Одинъ пріятель мой, который изъ любопытства путешествовалъ по разнымъ землямъ Европы,—который вниманіе свое посвящалъ натурѣ и человѣку, преимущественно предъ всѣмъ прочимъ, и записывалъ то, что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, думалъ и мечталъ,—намѣренъ записки свои предложить почтенной публикѣ въ моемъ журналѣ, надѣясь, что въ нихъ найдется что нибудь занимательное для читателей.

«2) *Разныя небольшія иностранныя сочиненія*, въ чистыхъ переводахъ.

«3) *Критическія разсматриванія* русскихъ книгъ, вышедшихъ, и тѣхъ, которыя впередъ выходить будутъ, а особливо оригинальныхъ.

«4) *Извѣстія о театральныхъ піесахъ*, представляемыхъ на здѣшнемъ театрѣ, съ замѣчаніями на игру актеровъ.

«5) *Описаніе разныхъ происшествій*, по чему-нибудь достойныхъ примѣчанія, и разные анекдоты, а особливо изъ жизни славныхъ новыхъ писателей.

«Матеріаловъ будетъ у меня довольно; но если кто благоволитъ присылать мнѣ свои сочиненія или переводы, то я буду принимать съ благодарностью все хорошее и согласное съ моимъ планомъ, въ который *не входятъ только теологическія, мистическія*, слишкомъ ученыя, педантическія, сухія піесы. Впрочемъ все, что въ благоустроенномъ государствѣ можетъ быть напечатано съ указнаго дозволенія,—все, что можетъ нравиться людямъ, имѣющимъ вкусъ, тѣмъ, для которыхъ назначенъ сей журналъ,—все то будетъ издателю благопріятно.

«Журналу надобно дать имя; онъ будетъ издаваемъ въ Москвѣ, и такъ имя готово: «*Московскій Журналъ*».

«Въ началѣ каждаго мѣсяца будетъ выходить книжка въ осьмушку, страницъ до 100 и болѣе, въ синенькомъ бумажномъ переплетѣ, напечатанная четкими литерами на бѣлой бумагѣ, со всею типографическою точностію и правильностію, которая нынѣ въ рѣдкихъ книгахъ наблюдается. Двѣнадцать такихъ книжекъ, или весь годъ, будетъ стоить въ Москвѣ 5 руб., а въ другихъ городахъ съ пересылкою 7 р.».

Свое объявленіе Карамзинъ заканчиваетъ характернымъ для того времени обѣщаніемъ: «Имена всѣхъ подписчиковъ будутъ напечатаны». Очевидно, что каждый подписчикъ или, какъ тогда назывался, «субскрибентъ» считалъ себя въ нѣкоторомъ родѣ Меценатомъ и полагалъ, что, уплачивая 5—7 р. за журналъ, совершаетъ нѣчто филантропическое въ отношеніи русской литературы.

Несомнѣнно, что, берясь за изданіе журнала, Карамзинъ дѣлалъ шагъ очень смѣлый. Опытъ его предшественниковъ могъ дать ему очень мало. Въ сущности, къ чему сводился этотъ опытъ?

Въ началѣ XVIII столѣтія въ Москвѣ явились «*Вѣдомости о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ знанія и памяти*», выходившія подъ строжайшей цензурой большей частью самого государя Петра I-го. Это была первая русская газета, наполненная

оффиціальными реляціями пословъ отечеству и императору служащихъ. «Санктпетербургскія Вѣдомости», основанныя въ 1721 г., были не лучше, а сравнительно еще жиже, чѣмъ «Вѣдомости». Съ 1727 г. начался первый русскій журналъ въ нашемъ смыслѣ слова, подъ названіемъ «*Историческія, генеалогическія и географическія примѣчанія къ «Санктпетербургскимъ Вѣдомостямъ»*». Редакцію къ примѣчаніямъ взялъ на себя нѣмецъ Миллеръ, который ввелъ нѣчто новое, именно «Прибавленія къ Примѣчаніямъ». Въ этихъ «прибавленіяхъ» помѣщались свѣдѣнія о всякихъ диковинныхъ вещахъ, происходящихъ на свѣтѣ, и они пришлись публикѣ какъ нельзя болѣе по вкусу. Съ довольно большими перерывами «Прибавленія» выходили вплоть до 1755 г., когда тотъ-же Миллеръ, расширивъ программу, замѣнилъ ихъ «*Ежемѣсячными сочиненіями, къ пользѣ и увеселенію служащими*». Самое заглавіе уже указываетъ на содержаніе сочиненій. Тутъ сообщалось и о разведеніи капусты, и о ходѣ семилѣтней войны, и объ излеченіи мозолей, и о родившихся уродцахъ. Въ 1758 г. Миллеръ, видя успѣхъ дѣла, сдѣлалъ еще шагъ впередъ, и «*Ежемѣсячныя сочиненія*» превратились въ «*Сочиненія и переводы, къ пользѣ и увеселенію служащіе*». Здѣсь помѣщались статьи изъ лучшихъ иностранныхъ журналовъ, стихи Сумарокова и Хераскова, изслѣдованія самого Миллера. Публика пріохочивалась къ чтенію, и Миллеръ имѣлъ уже нѣсколько сотъ субскрибентовъ. Это вызвало конкуренцію. Сумароковъ, «почитавшій себя не ниже г-на Вольтера», завелъ собственный журналъ: «Трудолюбивая Пчела», гдѣ бранилъ все, что попадалось подъ руку, особенно почему-то Миллера. Перебранивъ всѣхъ и вся втеченіе года и наговоривъ лично самому себѣ безчисленное множество самыхъ беззастѣнчивыхъ комплиментовъ, Сумароковъ бросилъ журналъ и вернулся къ стихамъ и драмамъ. Одновременно съ «Пчелой» выходили «*Полезное съ пріятнымъ*» и «*Праздное время, въ пользу употребленное*», — наполнявшіеся тѣмъ, что теперь мы называемъ «смѣсью». Все это выходило въ Петербургѣ; въ Москвѣ на поприщѣ журналистики подвизались Херасковъ (*«Полезное увеселеніе»*) Богдановичъ (*«Невинное упражненіе»*) и Сенковскій (*«Доброе намѣреніе»*), къ которому какъ нельзя лучше приложимо изреченіе: «добрыми намѣреніями вымощенъ адъ».

Журналисты невыносимо ссорились между собой, ссорились до того, что журналъ Миллера былъ закрытъ въ 1765 г. по распоряженію Екатерины II, «дабы не было соблазну». Цѣлыхъ 4 года вплоть до появленія на сцену Новикова въ Россіи не было *ни одного* журнала и не издавалось ни одного альманаха. Въ 1769 г. читатели съ

восторгомъ прочли первый номеръ новиковскаго «Трутня». Рѣзкая и сильная сатира, нападавшая уже не на личностей, а на недостатки общественной жизни,—сатира, стремившаяся выполнить завѣтъ Кантемира—насмѣшкой исправлять людей,—обрадовала всѣхъ. Сатирическіе журналы размножились какъ грибы послѣ дождя, за сатиру взялась сама Екатерина, работая во «Всякой Всячинѣ». Кульминаціоннаго пункта сатирическіе журналы достигли въ «Живописцѣ» Новикова, но послѣ этого началось ихъ паденіе. Феерическій періодъ царствованія приближался къ концу, императрица стала высказывать опасенія, не слишкомъ ли далеко она зашла съ вольными типографіями, комиссіями объ уложеніи и нѣкоторымъ подобіемъ свободы печати. Стали поворачивать назадъ настойчиво, но незамѣтно. Къ этому же времени Новиковъ переселился въ Москву, сблизился съ масонами. Петербургъ осиротѣлъ и вмѣсто богатой сатирической литературы остался при скучномъ «Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ»,—органѣ полуоффиціальномъ, чьей единственной красотой были стихи Державина. «Вѣстникъ» просуществовалъ лишь 1½ года и былъ возобновленъ лишь въ 1786 г., но успѣха не имѣлъ. Кромѣ него издавались еще нѣсколько журналовъ, ничѣмъ не замѣчательныхъ, и единственный любопытный фактъ, который надо отмѣтить, это тотъ, что въ періодъ 1786—1790 гг. журналы появились въ провинціи. Даже въ Тобольскѣ сосланный за продерзости Сумароковъ издавалъ «Иртышъ, *превращающійся* въ Ипокрену»—разумѣется, подъ перомъ самого издателя.

Такъ жила и прозябала русская журналистика вплоть до Карамзина. Она имѣла лишь одно славное имя—Новикова и одинъ дѣйствительно хорошій журналъ—«Живописца».

Программу «Московскаго Вѣстника» мы уже знаемъ. Она была выполнена съ полнымъ умѣньемъ. Посмотримъ на содержаніе хотя-бы одной только первой книжки. Здѣсь въ началѣ мы находимъ стихотвореніе Хераскова «Время» и знаменитое «Видѣніе Мурзы» Державина, поэму самого Карамзина («Посланіе къ Филлидѣ»), сказку Дмитріева, очень хорошенькую, особенно по языку. Здѣсь же появились первыя «Письма Русскаго Путешественника», критическій разборъ поэмы Хераскова «Кадмъ и Гармонія», «Путешествіе въ Африку» Вальяна и трагедія Лессинга «Эмилія Галотти». Словомъ, стихи и проза, критика и библіографія, разныя статьи и анекдоты нашли себѣ мѣсто въ первой-же тоненькой книгѣ «Московскаго Журнала». Послѣдующія были не хуже и число субскрибентовъ быстро возросло до 300 человѣкъ, съ которыми можно было вести дѣло, такъ какъ за матеріалъ издатель не платилъ ничего. Въ этомъ же журналѣ

Карамзинъ началъ свою знаменитую и общеизвѣстную реформу русскаго языка.

Сначала выслушаемъ собственное его признаніе о томъ, что̀ давало ему смѣлость взяться за такое большое дѣло. Однажды на вопросъ молодого казанскаго литератора Каменева, какимъ образомъ усовершенствовалъ онъ себя въ русскомъ языкѣ, Карамзинъ отвѣчалъ:

«Родившись въ деревнѣ, воспитывался въ Симбирскѣ и читалъ много книгъ русскихъ. Пріѣхавши въ Москву, учился въ домѣ профессора Шадена нѣмецкому и французскому языкамъ, началъ переводить, сочинять и, къ счастію, познакомился съ Петровымъ (молодымъ человѣкомъ, котораго подъ именемъ Агатона оплакивалъ). Онъ имѣлъ вкусъ моего свѣжѣе и чище; поправлялъ мои маранья, показывалъ красоты авторовъ, и я началъ чувствовать силу и нѣжность выраженій. Вознамѣрясь выйти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ сочинителей, который бы былъ достоинъ подражанія, и, отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ я замѣтить штиль его... вовсе не свойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ. И это совѣтую всѣмъ подражающимъ мнѣ сочинителямъ, чтобъ не всегда и не вездѣ держаться оборотовъ моихъ, но выражать свои мысли такъ, какъ имъ кажется живѣе».

Въ другой разъ онъ сказалъ Каменеву: «до изданія «Московскаго Журнала» много бумаги мною перемарано, и не иначе можно хорошо писать, какъ писавши прежде худо и посредственно».

Знаменитая реформа, какъ мы видимъ изъ послѣднихъ словъ, происходила по мѣрѣ того, какъ упражнялся и совершенствовался самъ Карамзинъ. Конечно онъ имѣлъ предшественниковъ, и даже нѣсколькихъ высоко-талантливыхъ, напр. Ломоносова, Новикова, Петрова. Что̀ же онъ сдѣлалъ? Новыя введенныя имъ слова немногочисленны и представляютъ изъ себя большей частью удачный переводъ съ французскаго, напр. развитіе (développement). Гораздо важнѣе, что Карамзинъ выкинулъ массу церковно-славянскихъ тяжелыхъ оборотовъ и перемѣнилъ самый строй фразы, приблизивъ ее къ французской, вмѣсто нѣмецкой и латинской, какъ то сдѣлалъ Ломоносовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ подъ вліяніемъ Петрова онъ далъ право гражданства въ литературѣ разговорному языку. По этому поводу онъ высказалъ нѣсколько цѣнныхъ мыслей, напр.:

«Жаль, что переводчикъ (драмы «Графъ Ольсбахъ») употребляетъ слова *сіе* и *оное*, что на театрѣ бываетъ всегда противно слуху.

Употребляемъ ли мы сіи слова въ разговорахъ? Если нѣтъ, то и въ комедіи, которая есть представленіе общежитія, употреблять ихъ не должно. Чѣмъ слогъ театральной піесы простѣе, тѣмъ лучше».

«*Не употребляя во зло правъ издателя, я осмѣлюсь только замѣтить два главные порока нашихъ юныхъ Музъ: излишнюю высокопарность, громъ словъ не у мѣста, и часто притворную слезливость*».

«Поэзія состоитъ не въ надутомъ описаніи ужасныхъ сценъ натуры, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что̀ подлинно занимаетъ его душу; если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если онъ описываетъ не тѣ предметы, которые къ нему близки и собственною силою влекутъ къ себѣ его воображеніе, если онъ принуждаетъ себя или только подражаетъ другому (что все одно), то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины, или той своеобразности въ частяхъ, которая составляетъ цѣлое и безъ которой всякое стихотвореніе (не смотря даже на многія счастливыя фразы) похоже на странное существо, описанное Гораціемъ въ началѣ эпистолы къ Пизонамъ. Молодому питомцу Музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры и прочее въ семъ родѣ».

Хотя самъ Карамзинъ и нарушалъ постоянно собственныя правила, но все же высказывать мысли подобныя приведеннымъ было дѣломъ очень полезнымъ въ его время. Успѣхъ его пропаганды словомъ и дѣломъ былъ скорый и несомнѣнный. Молодое поколѣніе приняло сторону «Московскаго Вѣстника», всѣ стали подражать языку и слогу Карамзина, даже его выраженіямъ. Впослѣдствіи для поддержанія карамзинской реформы былъ основанъ и знаменитый кружокъ «Арзамасъ» съ В. Жуковскимъ и Пушкинымъ во главѣ.

Кромѣ «Писемъ Русскаго Путешественника» мы находимъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» и знаменитую «Бѣдную Лизу»,—повѣсть, по поводу которой было пролито столько слезъ. Успѣхъ «Бѣдной Лизы» былъ необычайный. И могли ли не восхищаться этой повѣстью въ то блаженное время, когда мужчины мечтали о нѣжныхъ, милыхъ пастушкахъ, а дамы въ фижмахъ и пудрѣ помѣшались на любви къ буколическимъ Дафнисамъ и Терсисамъ? Лиза, бѣдная крестьянка, была если не пастушкой, то покрайней мѣрѣ цвѣточницей, что по понятіямъ аркадской академіи почти одно и то-же. Нѣжныя

и мягкія сердца сострадали къ Лизѣ, оплакивали ея обманутую фатомъ Эрастомъ любовь, проклинали ея соблазнителя и ходили «проливать слезы» на Чистые Пруды, гдѣ утопилась бѣдная Лиза.

Передъ нами поразительная по своей странности картина нравовъ нашихъ прадѣдовъ и прабабокъ. Чѣмъ эта «бѣдная Лиза»,—повѣсть съ самымъ обыденнымъ сюжетомъ, самыми обыденными красками и далеко неважно написанная,—могла такъ поразить чувствительныя струны ихъ сердецъ? Почему люди, видѣвшіе вокругъ себя столько страданія, сами заставлявшіе страдать,—люди, выросшіе въ обстановкѣ крѣпостного права, жестокой государственности, легкомысленныхъ нравовъ, губившихъ такъ много лицъ, смотрѣли на всю свою обстановку съ полнымъ равнодушіемъ и ходили плакать на Чистые Пруды? Вѣдь маменька, проклинавшая Эраста, назвала бы его поступокъ простою шалостью, разъ въ роли соблазнителя явился ея сынокъ. А между тѣмъ искренне проливали слезы, искренне проклинали. И кто такая была бѣдная Лиза? Крестьянка, цвѣточница; за поступокъ, совершенный ею, по обычаю прошлаго вѣка, ее слѣдовало отправить или на конюшню, или на скотный дворъ—и, происходи дѣло въ дѣйствительности, ее непремѣнно отправили бы въ одно изъ вышеуказанныхъ мѣстъ, а то и въ оба сразу. Но тутъ—слезы!.. «Тысячи любопытныхъ ѣздили и ходили на Чистые Пруды искать слѣдовъ Лизиныхъ» — свидѣтельствуетъ самъ Карамзинъ.

Причина заключалась, разумѣется, въ томъ, что искусство было само по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Можно было любоваться хорошенькимъ личикомъ крестьянской дѣвушки на картинѣ и звать ее хамкой, бить ее по щекамъ, когда она являлась въ качествѣ дворовой. Можно было сострадать человѣку въ повѣсти и топтать въ грязь его достоинство въ дѣйствительности. Искусство было не общественной силой, а, если такъ можно выразиться, лишь собраніемъ звуковъ, вызывающихъ извѣстное настроеніе—веселое или меланхолическое. Все служило мелодіи, все выражалось въ мелодіи. Плакали на Чистыхъ Прудахъ не изъ-за Лизы, а изъ-за собственнаго меланхолическаго настроенія, вызваннаго мелодіей Карамзина.

Послѣ двухъ лѣтъ изданія Карамзинъ, несмотря на замѣтный успѣхъ журнала, совершенно неожиданно заявилъ публикѣ, что болѣе «Вѣстникъ» появляться не будетъ. Что̀ за причина такого страннаго происшествія? Теперь уже мы не можемъ не видѣть здѣсь давленія сверху. Всего вѣроятнѣе, что Карамзину было прямо приказано прекратить изданіе, тѣмъ болѣе, что какъ разъ въ это время шло слѣдствіе по его дѣлу за дружбу съ Новиковымъ и Плещее-

вымъ, за связь съ «Дружескимъ Обществомъ» и масонами, за заграничное путешествіе наконецъ. Лично онъ выпутался совершенно счастливо, но «Вѣстникъ» погибъ... Впрочемъ такова обычная судьба журнала. А жалко. «Московскій Вѣстникъ» былъ несомнѣнно живой, интересный органъ, пріучавшій публику къ чтенію, что во всякомъ случаѣ значитъ кое-что.

V.

Изданіе сборниковъ.—«Вѣстникъ Европы».

Прощаясь съ публикой въ послѣдней книгѣ своего журнала, Карамзинъ писалъ между прочимъ:

«Между тѣмъ у меня будутъ свободные часы, часы отдохновенія; можетъ быть вздумается мнѣ написать какую-нибудь бездѣлку; можетъ быть пріятели мои также что-нибудь напишутъ:—сіи отрывки или цѣлыя піесы намѣренъ я издавать въ маленькихъ тетрадкахъ, подъ именемъ... напримѣръ «Аглаи», одной изъ любезныхъ Грацій. Ни времени, ни числа листовъ не назначаю; не вхожу въ обязательство и не хочу подписки; выйдетъ книжка, публикуется въ газетахъ—и кому угодно, тотъ купитъ ее».

«Такимъ образомъ «Аглая» заступитъ мѣсто «Московскаго Журнала». Впрочемъ она должна отличаться отъ сего послѣдняго строжайшимъ, т.-е. болѣе выработаннымъ слогомъ; ибо я не принужденъ буду издавать ее въ срокъ. Можетъ быть съ букетомъ первыхъ весеннихъ цвѣтовъ положу я первую книжку «Аглаи» на алтарь Грацій; но примутъ ли сіи прекрасныя богини жертву мою или нѣтъ—не знаю. «Письма Русскаго Путешественника», исправленныя въ слогѣ, могутъ быть напечатаны особливо, въ двухъ частяхъ: первая заключается отъѣздомъ изъ Женевы, а вторая—возвращеніемъ въ Россію. Драма кончилась и занавѣсъ опускается».

Начавшійся 1793 годъ былъ тяжелъ для Карамзина. Въ мартѣ умеръ Петровъ, составленіе сборника затягивалось, полиція продолжала подозрительно смотрѣть на русскаго путешественника. Карамзинъ уѣхалъ въ деревню и, точно влюбленный, отдался своей «Аглаѣ», первая книга которой появилась лишь зимой. Сборникъ—прототипъ всѣхъ нашихъ будущихъ альманаховъ—былъ составленъ умѣлой рукой человѣка, знавшаго, что не надо слишкомъ далеко

уходить отъ пониманія публики, чтобы нравиться ей. Здѣсь мы находимъ нѣсколько восторженныхъ фразъ о пользѣ просвѣщенія, много стиховъ, нѣсколько разсказовъ. Кромѣ хорошаго языка, «Аглая» ничѣмъ не отличается отъ «Невиннаго Развлеченія» и ему подобныхъ журналовъ.

Любопытно между прочимъ стихотвореніе Карамзина, озаглавленное «Посланіе къ Дмитріеву». Здѣсь мы находимъ полное изложеніе его житейской философіи. Онъ согласенъ съ тѣмъ, что жизнь совсѣмъ не такъ хороша, какъ она представляется въ юности. Приходится мириться съ ея несовершенствами, потому что:

— съ Платономъ
Республикъ намъ не учредить,
Съ Питтакомъ, Ѳалесомъ, Зенономъ
Сердецъ жестокихъ не смягчить.

И какъ можетъ быть иначе, когда

Гордецъ не любитъ наставленія,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенія—

а гордецы и глупцы—сила жизни. Что же дѣлать? Остается одно:

Плакать бѣдныхъ смертныхъ долю
И смертный свѣтъ предать на волю
Судьбѣ и рока...

Утѣшеніе все-же можно найти, но вотъ какое:

А мы, любя дышать свободно,
Себѣ построимъ тихій кровъ
За мрачной тѣнію лѣсовъ,
Куда бы злые и невѣжды
Во вѣкъ дороги не нашли
И гдѣ бъ безъ страха и надежды
Мы въ мирѣ жить съ собой могли,
Гнушаясь издали порокомъ...

«Аглаи» вышло два сборника; послѣ нихъ Карамзинъ издалъ свои «Аониды», гдѣ помѣщалъ различныя стихотворенія, называя поэзію «цвѣтникомъ чувствительныхъ сердецъ». О стихахъ Карамзина можно вообще сказать, что, читая ихъ, вы не ощущаете никакого восторга, точно также какъ его не ощущалъ самъ авторъ, когда писалъ ихъ. Карамзину было чуждо именно то, что мы называемъ вдохновеніемъ, оттого и самый языкъ его не имѣетъ энергіи. При чтеніи вы чувствуете недостатокъ гармоніи и глубокаго чувства. Лиризмъ

его самый блѣдный; разъ онъ касается природы, все дѣло ограничивается цвѣтистыми лугами, соловьемъ и малиновкой... Поэты родятся, а Карамзинъ не былъ рожденъ поэтомъ.

Въ изданіи «Аглаи», «Аонидъ», «Писемъ» прошло цѣлыхъ восемь лѣтъ, не внеся въ личную жизнь Карамзина ничего новаго. Онъ продолжалъ держать себя въ сторонѣ, отдавая бо́льшую часть времени литературнымъ работамъ. Отъ тяжелой современности Карамзинъ уходилъ въ творчество по программѣ своего знаменитаго четверостишія:

Ахъ, не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!
На минуту позабудемся
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ.

На самомъ дѣлѣ было отъ чего уходить. Конецъ царствованія императрицы Екатерины (1793—1796 г.) и все царствованіе Павла Петровича были какъ бы продиктованы ужасомъ, навѣяннымъ на европейскія правительства казнью Людовика XVI-го, революціей, побѣдоносными войнами республиканцевъ. Отъ свободы печати не осталось и тѣни. Новиковъ былъ брошенъ въ крѣпость на вѣки, масоновъ раскассировали, знаменитый Шешковскій дни и ночи занимался допросами воображаемыхъ государственныхъ преступниковъ, Радищева едва не казнили. При Павлѣ Петровичѣ дѣло пошло еще хуже и можетъ лишь издали представляться комическимъ. Цѣлые полки ссылались на поселеніе, всякое сношеніе съ заграницей было запрещено, даже музыкальныя ноты не допускались въ Россію, подвергали страшнымъ наказаніямъ всякаго, нарушившаго правила благочинія, правила безчисленныя и мелочныя вродѣ того, что надо было ложиться въ такомъ-то часу, носить кафтанъ, а не фракъ. Круглая шляпа, какъ революціонная, подверглась изгнанію; вмѣсто слово «отечество» приказано было говорить «государство». Люди боялись показываться на улицахъ, чтобы не очутиться въ Сибири.

«Гнушаясь издали порокомъ», Карамзинъ старался держать себя какъ можно незамѣтнѣе. Впрочемъ его не оставляли совершенно въ покоѣ. По разсказу Бантышъ-Каменскаго, на него было нѣсколько скверныхъ доносовъ, какъ на безбожника. Но къ счастью доносы остались безъ послѣдствія.

По отрывкамъ изъ его писемъ читатель можетъ составить себѣ представленіе о меланхоліи, въ которой онъ находился все это время.

Напримѣръ: «голова моя все какъ то не свободна: то заботы, то неудовольствія, то... Богъ знаетъ что; однакожъ все сбираюсь и, вы-

давъ книжки три «Пантеона» (NB. для подспорья кошельку своему), вѣрно что-нибудь начну, или начатое кончу. Только цензура, какъ черный медвѣдь, стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлицамъ придирается. Я «кажется» и самъ могу знать, что̀ позволено и чего не должно позволять; досадно, когда въ безгрѣшномъ находятъ грѣшное». Или, отъ *11-го октября* 1798 г. «*Я, какъ авторъ*, могу исчезнуть заживо. Здѣшніе цензоры при новой эдиціи »Аонидъ» поставили ┼ на моемъ посланіи къ женщинамъ. Такая же участь ожидаетъ и «Аглаю», и «Мои бездѣлки», и «Письма Русскаго Путешественника», то есть вѣроятно, что цензоры при новыхъ изданіяхъ захотятъ вымарывать и поправлять, а лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцію; и такимъ образомъ черезъ годъ не останется въ продажѣ можетъ быть ни одного изъ моихъ сочиненій».

«Умирая *авторски*, восклицаю: да здравствуетъ Россійская литература!—Впрочемъ цензоры крайне обязываютъ лѣнь мою, которая въ ихъ строгости находитъ для себя оправданіе... Я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосѳена, которыя могли бы украсить «*Пантеонъ*»; но цензоры говорятъ, что Демосѳенъ былъ республиканецъ и что такихъ авторовъ переводить не должно—и Цицерона также, и Саллустія также... Grand Dieu! Что же выйдетъ изъ моего «Пантеона»? Планъ издателя разрушился. Я хотѣлъ для образца перевести что-нибудь изъ каждаго древняго автора. Еслибы экономическія обстоятельства не заставляли меня имѣть дѣло съ типографіею, то я, положивъ руку на алтарь Музъ и заплакавъ горько, поклялся бы не служить имъ болѣе ни сочиненіями, ни переводами. Странное дѣло! У насъ есть академія, университетъ; а литература подъ лавкою...»

Затаенная иронія слышится въ слѣдующихъ фразахъ: «Новость здѣсь та,—пишетъ Карамзинъ брату въ 1797 г.,—что намъ опять позволяютъ носить фраки, но круглыя шляпы остаются подъ прежнимъ запрещеніемъ». Или (1798 г): «Новостей у насъ немного. Опять говорятъ о запрещеніи фраковъ. Лѣтомъ на улицѣ надо будетъ ходить во французскомъ кафтанѣ и кошелкѣ, или въ мундирѣ со шпагою...» И т. д.

Даже такому нетребовательному человѣку, какъ Карамзинъ, было тяжело въ то время, когда монархическій принципъ воплощался въ кафтанахъ и круглыхъ шляпахъ. Казалось, рушилось все. Отъ великолѣпныхъ утопій царствованія Екатерины, отъ громкихъ споровъ въ комиссіи уложенія, отъ мудрыхъ, хотя и заимствованныхъ, фразъ «Наказа», отъ смѣха сатирическихъ журналовъ—не осталось и слѣда. Глухой рокотъ патрульнаго барабана съ утра до вечера

раздавался по улицамъ, заглушая человѣческую рѣчь, нагоняя ужасъ, тоску, ожесточеніе.

«Россіяне смотрѣли на сего Монарха — писалъ впослѣдствіи Карамзинъ—какъ на грозный метеоръ, считая минуты и съ нетерпѣніемъ ожидая послѣдней. Она пришла, и вѣсть о томъ въ цѣломъ государствѣ была вѣстью искупленія: въ домахъ, на улицахъ люди плакали отъ радости, обнимая другъ друга, какъ въ день Свѣтлаго Воскресенія. Кто былъ несчастливѣе Павла? Слезы горести лились только въ нѣдрахъ его августѣйшаго семейства; тужили еще нѣкоторые имъ облагодѣтельствованные, но какіе люди! Ихъ сожалѣніе не менѣе всеобщей радости долженствовало оскорбить душу Павлову, если она, по разлученіи съ тѣломъ, озаренная наконецъ свѣтомъ истины, могла воззрѣть на землю и на Россію». («Русскій Архивъ» 1870 г., стр. 2270-я.)

Грусть и меланхолія по необходимости должны были возрастать со дня на день въ каждой мыслящей душѣ. По всей Европѣ уже чувствовалось приближеніе реставраціи. Угару свободолюбія, увлеченія философіей и философами наступалъ конецъ. Чудными словами, быть можетъ самыми искренними изъ всѣхъ, которыя когда-либо вырвались изъ-подъ его пера, Карамзинъ передаетъ свое разочарованіе, свое угнетенное настроеніе духа, которое онъ дѣлилъ съ лучшими изъ современниковъ:

«Кто болѣе нашего,—пишетъ онъ,—славилъ преимущество XVIII-го вѣка, свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ?.. хотя и являлись еще нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ человѣчества, но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края оныхъ... Конецъ нашего вѣка почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думали, что въ немъ послѣдуетъ соединеніе теоріи съ практикой, умозрѣнія съ дѣятельностью... Гдѣ теперь эта утѣшительная система? Она разрушилась въ самомъ основаніи; XVIII вѣкъ кончается и несчастный филантропъ мѣряетъ двумя шагами могилу свою, чтобы лечь въ нее съ обманутымъ, растерзаннымъ сердцемъ своимъ и закрыть глаза навѣки.

«Кто могъ думать, ожидать, предвидѣть? Гдѣ люди, которыхъ мы любили? гдѣ плодъ наукъ и мудрости? Вѣкъ просвѣщенія, я не узнаю тебя; въ крови и пламени, среди убійствъ и разрушеній я не узнаю тебя!

«Мизософы торжествуютъ. «Вотъ плоды вашего просвѣщенія — *говорятъ* они,—вотъ плоды вашихъ наукъ; да погибнетъ философія!— И бѣдный, лишенный отечества, и бѣдный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяетъ: «да погибнетъ!»

«Кровопролитіе не можетъ быть вѣчно. Я увѣренъ, рука, сѣкущая мечомъ,—утомится; сѣра и селитра истощатся въ нѣдрахъ земли и громы умолкнутъ; тишина, рано или поздно, настанетъ, но какова будетъ она?—если мертвая, хладная, мрачная?..

«Иногда несносная грусть тѣснитъ мое сердце, иногда упадаю на колѣна и простираю руки свои къ невидимому... Нѣтъ отвѣта!—голова моя клонится къ сердцу.

«Вѣчное движеніе въ одномъ кругу, вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи съ днемъ, капля радостныхъ и море горестныхъ слезъ... Мой другъ, на что жить мнѣ, тебѣ и всѣмъ? На что жили предки наши? На что будетъ жить потомство?

«Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ»...

И было отъ чего...

* * *

Наконецъ въ 1801 г. при общемъ вздохѣ облегченія на престолъ вступилъ молодой императоръ Александръ I-й. Съ этого же момента начинается новая эра и въ жизни самого Карамзина. Изъ его оды на коронацію мы видимъ, чего онъ ждалъ отъ юнаго монарха. Въ началѣ онъ, слѣдуя правиламъ реторики и піитики, сравнивалъ, разумѣется, Александра I-го съ Ангеломъ Божіемъ, восшествіе на престолъ—съ наступленіемъ весны и т. д. Но дальше слѣдуютъ и болѣе существенныя мысли, напримѣръ:

Сколь трудно править самовластно
И небу лишь отчетъ давать...
Его (т. е. государя) желанью нѣтъ препоны;
Но онъ творя благотворитъ...
Онъ можетъ все, но свято чтитъ
Его жъ премудрости законы.

Еще лучше слѣдующія строки:

Тебѣ одна любовь прелестна:
Но можно ли рабу любить?
Ему ли благороднымъ быть?
Любовь со страхомъ не совмѣстна;
Душа свободная одна
Для чувствъ ея сотворена.
Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, намъ мила
И съ пользою Царей согласна;
Ты вѣчной славой ихъ была.
Свобода тамъ, гдѣ есть уставы,
Гдѣ добрый не боясь живетъ;
Тамъ рабство, гдѣ законовъ нѣтъ,
Гдѣ гибнетъ правый и неправый!

За свои оды Карамзинъ получилъ отъ государя перстень и съ этимъ перстнемъ вступилъ на путь покровительствуемой литературы. Черезъ нѣсколько лѣтъ мы уже увидимъ его въ званіи оффиціальнаго исторіографа.

Въ апрѣлѣ 1801 г. Карамзинъ женился на Елизаветѣ Ивановнѣ Протасовой. Расположеніе духа его значительно измѣнилось къ лучшему, что̀ видно изъ его писемъ. Онъ вдругъ сталъ доволенъ всѣмъ: судьбою, обстоятельствами, домашнимъ очагомъ. «Государь—пишетъ онъ напримѣръ—расположенъ ко всякому добру, и мы при немъ отдохнули. Главное то, что можно жить спокойно». Или: «Мы съ Лизанькою живемъ тихо и смирно; я работаю, сижу дома и оставилъ почти всѣ свои знакомства, будучи веселъ и счастливъ дома...» Но счастье семейное продолжалось недолго: черезъ годъ послѣ свадьбы Елизавета Ивановна умерла.

За литературную работу Карамзинъ принялся съ прежнею энергіей. Онъ издалъ свое «Похвальное Слово» Императрицѣ Екатеринѣ и «Пантеонъ Россійскихъ авторовъ». «Похвальное Слово» представляетъ изъ себя лишь наборъ громкихъ, звучныхъ фразъ, продиктованныхъ неумѣреннымъ восторгомъ. Интересно лишь изложеніе взглядовъ императрицы на «самодержавство».

«Самодержавство,—читаемъ мы,—разрушается, когда Государи думаютъ, что имъ надобно изъявлять власть свою не слѣдованіемъ порядку вещей, а перемѣною онаго, и когда они собственныя мечты уважаютъ болѣе законовъ. Самое высшее искусство Монарха состоитъ въ томъ, чтобы знать, въ какихъ случаяхъ должно употребить власть свою: ибо благополучіе самодержавія есть отчасти кроткое и снисходительное правленіе. Надобно, чтобы Государь только ободрялъ, и чтобы одни законы угрожали. Несчастливо то государство, въ которомъ никто не дерзаетъ представить своего опасенія въ разсужденіи будущаго, не дерзаетъ свободно объявить своего мнѣнія».

Очевидно Карамзинъ имѣлъ очень многое противъ абсолютизма, «не признающаго даже законовъ собственной своей премудрости». Его «Похвальное Слово» являлось въ то-же время какъ бы нравоученіемъ для юнаго монарха, отъ котораго всѣ ждали, что онъ возстановитъ «златой вѣкъ Екатерины». Приводя затѣмъ слова Императрицы: «мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа», — Карамзинъ съ неудержимымъ паѳосомъ восклицаетъ: «я вѣрю своему сердцу: ваше конечно то-же чувствуетъ... Сограждане, сердце мое трепещетъ отъ восторга: удивленіе и благодарность производятъ его. Я лобызаю державную руку, которая подъ

божественнымъ вдохновеніемъ души начертила сіи священныя строки. Какой монархъ на тронѣ дерзнулъ такъ,—дерзнулъ объявить своему народу, что слава и власть Вѣнценосца должны быть подчинены благу народному, что не подданные существуютъ для монарховъ, а монархи—для подданныхъ». Въ чемъ же заключается благо народное? «*Дайте*, говоритъ Карамзинъ, *сначала человѣку въ каждомъ гражданскомъ обществѣ находить то счастье, для котораго Всевышній сотворилъ людей, ибо главнымъ корнемъ злодѣяній бываетъ несчастіе.* Но чтобы люди умѣли наслаждаться и были бы довольными во всякомъ состояніи мудраго политическаго общества, то просвѣтите ихъ».

Первая подчеркнутая нами половина приведенной фразы прекрасна и справедлива, хотя и не представляетъ ничего особеннаго среди того либеральнаго броженія, которое овладѣло русскимъ обществомъ при вступленіи на престолъ Александра I-го, любимаго внука Екатерины Великой. Будущій оффиціальный исторіографъ искренно примкнулъ къ этому броженію — не надолго впрочемъ, пока въ немъ не изгладилось воспоминаніе объ унизительной ферулѣ царствованія Павла I-го.

За «Похвальное Слово» Карамзинъ получилъ табакерку, осыпанную брилліантами; въ общемъ уже—два перстня и табакерка.

* * *

При новыхъ вѣяніяхъ измѣнилась и цензура, перестала быть «чернымъ медвѣдемъ, стоящимъ на дорогѣ». Книгопродавцы и типографщики предложили Карамзину взяться опять за изданіе журнала. Онъ согласился, и такимъ образомъ появился «Вѣстникъ Европы». Программа была очень интересна

«Немногіе,—писалъ Карамзинъ въ предувѣдомленіи,—получаютъ иностранные журналы, а многіе хотятъ знать, *что* и *какъ* пишутъ въ Европѣ: «*Вѣстникъ*» можетъ удовлетворять сему любопытству, и притомъ съ нѣкоторою пользою для языка и вкуса. Намъ пріятно думать, что въ Грузіи или въ Сибири читаютъ самыя тѣ піесы, которыя (двумя или тремя мѣсяцами прежде) занимали парижскую и лондонскую публику. Сверхъ того въ «*Вѣстникѣ*» будутъ и русскія сочиненія въ стихахъ и прозѣ; но издатель желаетъ, чтобы они могли безъ стыда для нашей литературы мѣшаться съ произведеніями иностранныхъ авторовъ».

Въ сущности «Вѣстникъ Европы» былъ первымъ на русскомъ языкѣ обозрѣніемъ иностранной жизни. Его двухнедѣльныя обозрѣнія

заключали самый разнообразный матеріалъ. Здѣсь читатель узнавалъ о Бонапартѣ и Питтѣ, о замыслахъ французскаго правительства, объ ошибкахъ союзниковъ, объ учрежденіи ордена почетнаго легіона и т. д. Обозрѣнія были живыя и интересныя, какъ и все, что выходило изъ подъ пера Карамзина.

Второе мѣсто въ журналѣ занимали внутреннія дѣла, разумѣется въ предѣлахъ, дозволенныхъ цензурой. Гласности въ нашемъ смыслѣ слова тогда не существовало, и все, о чемъ мечталъ даже такой смѣлый человѣкъ, какъ Карамзинъ, было не болѣе какъ право подавать докладныя записки Государю.

Въ «Вѣстникѣ-же Европы» появилось не мало историческихъ и историко-литературныхъ опытовъ, занимательныхъ и интересныхъ всегда и всегда же неглубокихъ.

Однако, несмотря на успѣхъ, Карамзинъ разстался съ журналомъ очень скоро—уже въ 1803 году. Его слабые глаза не выдерживали напряженной работы, постояннаго чтенія корректуръ и рукописей. «Вѣстникъ Европы» прекратился и опять очистилось мѣсто для «Невиннаго Развлеченія» или «Что нибудь отъ бездѣлья на досугѣ» и т. п. журналамъ, нищенскія заглавія которыхъ достаточно говорятъ о ихъ содержаніи.

Оставляя журналистику и уже на *всегда*, Карамзинъ успѣлъ подготовить себѣ почву для созданія важнѣйшаго труда своей жизни, именно «Исторіи Государства Россійскаго». Произошло это слѣдующимъ образомъ.

28-го сентября 1803 года онъ, посовѣтывавшись предварительно съ другомъ своимъ И. И. Дмитріевымъ, отправилъ на имя товарища министра народнаго просвѣщенія письмо, въ которомъ просилъ о назначеніи себя государственнымъ исторіографомъ. Письмо между прочимъ заключало слѣдующія строки:

«Будучи весьма небогатъ, я издавалъ журналъ съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы принужденною работою пяти или шести лѣтъ купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы—однимъ словомъ, сочинять «Русскую Исторію», которая съ нѣкотораго времени занимаетъ всю душу мою. Теперь слабые глаза мои не дозволяютъ мнѣ трудиться по вечерамъ и принуждаютъ меня отказаться отъ «*Вѣстника*». *Могу* и хочу писать Исторію, которая не требуетъ поспѣшной и срочной работы; но еще не имѣю способа жить безъ большой нужды. Съ журналомъ я лишаюсь 6000 руб. доходу. Если вы думаете, Милостивый Государь, что Правительство можетъ имѣть нѣкоторое уваженіе къ человѣку, который способствовалъ успѣхамъ языка и вкуса, заслужилъ лестное благоволеніе

россійской публики, и котораго бездѣлки, напечатанныя на разныхъ языкахъ Европы, удостоились хорошаго отзыва славныхъ иностранныхъ литераторовъ, то нельзя ли при случаѣ доложить Императору о моемъ положеніи и ревностномъ желаніи написать Исторію, не варварскую и не постыдную для его царствованія? Во Франціи, богатой талантами, сдѣлали нѣкогда Мармонтеля *исторіографомъ* и давали ему пенсію, хотя онъ и не писалъ Исторіи: у насъ, въ Россіи, какъ вамъ извѣстно, немного истинныхъ авторовъ. Если галиматья, подъ именемъ «*Корифея*», печатается на счетъ казны, если переводъ Анахарсиса удостоился вспоможенія отъ Правительства: то для чего же, казалось бы, не поддержать автора, уже извѣстнаго въ Европѣ, трудолюбиваго и пылающаго ревностію ко славѣ отечества? Хочу не избытка, а только *способа прожить пять или шесть лѣтъ:* ибо въ это время надѣюсь управиться съ Исторіею. И тогда я могъ бы отказаться отъ пенсіи: написанная Исторія и публика не оставили бы меня въ нуждѣ. Смѣю думать, что я трудомъ своимъ заслужилъ бы профессорское жалованье, которое предлагали мнѣ дерптскіе кураторы, но вмѣстѣ съ должностію неблагопріятною для таланта».

Это письмо говоритъ намъ прежде всего о томъ, что скромность не входила въ число добродѣтелей Карамзина, а затѣмъ—что будущій исторіографъ имѣлъ довольно смутное представленіе о предстоявшемъ ему дѣлѣ. Онъ, какъ видно, разсчитывалъ управиться съ исторіей въ шесть лѣтъ,—вещь невозможная и даже наивная.

Государь лично зналъ Карамзина, и такъ какъ мысль объ оффиціальной исторіи не представляла ничего новаго, то и далъ свое согласіе, приказавъ производить изъ собственныхъ суммъ выдачу исторіографу по двѣ тысячи рублей въ годъ. Благодаря этому распоряженію, жизнь Карамзина совершенно измѣнилась. Начинается вторая ея половина, далеко не похожая на первую. Послѣдніе слѣды юности, юношескихъ грезъ, стремленій, надеждъ исчезаютъ. Независимый литераторъ становится придворнымъ исторіографомъ, свободный журналистъ—вельможей, и не только извнѣ, но вельможей до мозга костей, съ присвоенными чину и звѣздамъ взглядами. Грустно, а ничего не подѣлаешь: намъ приходится распроститься съ добрымъ мечтателемъ, чувствительнымъ авторомъ повѣстей, порывистымъ работникомъ, надѣленнымъ однако «любезной склонностью къ меланхоліи», и вступить въ кабинетъ государственнаго исторіографа, гдѣ намъ придется услышать вещи, хотя и высказанныя съ прежнимъ краснорѣчіемъ и прежнимъ привѣтливымъ видомъ, но уже другимъ тономъ и иного сорта...

Прервемъ однако наше изложеніе и выяснимъ положеніе русской исторіи до того момента, когда за нее взялся Карамзинъ. Это потребуетъ отъ насъ отдѣльной главы.

VI.

Русская историческая наука до Карамзина.

Пасхаліи, хронографы, лѣтописи и т. п. я оставлю въ сторонѣ, потому что все это не исторія, а лишь историческіе матеріалы. Намъ приходится поэтому начать съ «Синопсиса» или «обозрѣнія» — первой попытки осмыслить прошлое и представить его въ связномъ изложеніи.

Первое изданіе «Синопсиса» относится еще къ 1674 г., написанъ же онъ значительно раньше. Остовомъ его является исторія Кіева, къ чему впослѣдствіи были прибавлены нѣкоторые эпизоды изъ жизни сѣверо-восточной Руси. «Синопсисъ» издавался и переиздавался болѣе 5-ти разъ и вплоть до нашего вѣка пользовался популярностью. Его содержаніе, несмотря на массу подробностей о построеніи церквей, о вкладахъ въ монастыри и т. п., во многихъ отношеніяхъ могло интересовать малообразованнаго, но любознательнаго читателя. Въ первыхъ же главахъ рѣшается вопросъ о происхожденіи русскаго народа, причемъ генеалогія его возводится, разумѣется, вплоть до вавилонскаго столпотворенія. Оказывается, что «Мосохъ, шестой сынъ Іафета, внукъ Ноя, черезъ 131 годъ послѣ потопа отправился изъ Вавилона со своимъ племенемъ и поселился на берегахъ Чернаго моря. Отъ Мосоха произошли «москвичи». Откуда-же прозваніе руссовъ? Авторъ «Синопсиса» не затрудняется и въ данномъ случаѣ, и опять даетъ отвѣтъ очень пріятный для національнаго самолюбія. Слово «руссы» производитъ онъ отъ глагола «расширяться, распространяться» и увѣряетъ, что народъ этотъ «страшенъ и славенъ всему свѣту бысть, яко вси ветхіи и достовѣрные лѣтописцы свидѣтельствуютъ». Въ томъ же льстивомъ тонѣ описаны княженія Ольги, Владиміра Святого, который названъ уже самодержцемъ. Особенно подробно разсказано крещеніе Руси, и этотъ разсказъ является центромъ всей книги. Написана она, какъ видно, въ строго православномъ духѣ, а ея генеалогія, производящая насъ отъ Мосоха и Ноя, очень нравилась читателямъ стараго времени, вызывая въ нихъ патріотическое одушевленіе. «Ярко освѣщено было,—говорилъ Милюковъ—начало исторіи и въ немъ всего отчетливѣе выдѣлялось крещеніе Руси. Послѣ Владиміра Святого запоминался Мономахъ съ его регаліями; крѣпко

врѣзался въ память торжественный моментъ первой побѣды надъ татарами, для котораго разсказчикъ не пожалѣлъ красокъ. Выводовъ, цѣльнаго взгляда, системы русской исторіи тутъ еще нѣтъ, но въ памяти читателя остаются четыре имени и четыре картины: двѣ мрачныя—язычество и татарское нашествіе, двѣ торжественныя—крещеніе и Куликовская битва. И по объему эти отдѣлы составляютъ цѣлую половину книги. Затѣмъ у обыкновеннаго читателя оставалось неясное воспоминаніе о путаницѣ именъ въ остальной половинѣ: этнографическихъ именъ въ началѣ, княжескихъ именъ въ серединѣ, именъ намѣстниковъ кіевскихъ въ концѣ; этотъ матеріалъ не стоялъ ни въ какой общей связи и забывался самъ собою, какъ ни для чего непригодный».

Изложеніе «Синопсиса» доведено до присоединенія Кіева къ Москвѣ,—событія, въ глазахъ составителя, огромной важности.

Въ XVIII вѣкѣ мы видимъ передъ собой цѣлый рядъ историковъ, половина которыхъ русскіе, половина нѣмцы. Изъ этихъ послѣднихъ на первомъ планѣ стоятъ Байеръ, Миллеръ и знаменитый Шлёцеръ,—первый человѣкъ, заслуживающій имени историка въ строгомъ смыслѣ слова. Отличительной-же чертой какъ русскихъ, такъ и нѣмцевъ было то, что всѣ они занимали оффиціальное положеніе, были на службѣ у государства и находились подъ его контролемъ. Далеко не всякій фактъ считался «приличнымъ къ сочиненію исторіи». Сомнѣваться напр. въ томъ, что Апостолъ Андрей крестилъ славянъ, было неправильно; это значило, какъ сообщили Татищеву, опровергать православную вѣру и законъ. Производить руссовъ не отъ Руса, а отъ нормановъ одинаково было неприлично: это значило—представлять русскихъ подлымъ народомъ и опускать случай къ похвалѣ славянскаго народа. Даже просто перепечатывать лѣтописи было неудобно, потому что «находится не малое число въ оныхъ лѣтописяхъ лжебасней, измышленій и т. д.».

Легко себѣ представить, какъ дышалось историкамъ при такой ферулѣ. Шлецеръ напр. не выдержалъ и уѣхалъ къ себѣ въ Германію, чтобы тамъ на свободѣ изучать своего излюбленнаго Нестора. Въ Россіи даже ему—члену-де сьянъ Академіи—дѣлать это оказывалось невозможнымъ.

Изъ русскихъ людей на поприщѣ сочиненія исторіи особенно замѣтны Татищевъ, Ломоносовъ, Болтинъ и Щербатовъ. О каждомъ изъ нихъ намъ надо сказать нѣсколько словъ.

Татищевъ, одинъ изъ самыхъ типичныхъ представителей петровскаго поколѣнія, взялся за исторію совершенно случайно, по порученію Брюса. «Хотя—признается онъ—я по скудости способныхъ къ

тому (т. е. къ сочиненію исторіи) наукъ и необходимо нужныхъ извѣстій осмѣлиться не находилъ себя въ состояніи, но ему (Брюсу), яко командиру и благодѣтелю, отказаться не могъ. Оное въ 1719 г. отъ него принялъ, имѣя, что географію гораздо легче, нежели исторію сочинять, тотчасъ по предписанному отъ него плану оную началъ.» Географическія занятія завели однако Татищева очень далеко—въ самыя лѣтописи. Тотъ-же командиръ и благодѣтель Брюсъ разыскалъ для него списокъ Нестора, который пришлось сравнивать съ другими. Работа предстояла кропотливая, долгая, но Татищевъ, несмотря на службу, постоянные разъѣзды и собственное хозяйство, не испугался ея. Онъ понималъ ея полезность, а для него, какъ истаго ученика Петра Великаго, выше полезнаго не было на свѣтѣ ничего. Черезъ двадцать лѣтъ былъ готовъ знаменитый сводъ лѣтописей съ примѣчаніями, который Татищевъ дополнялъ и отдѣлывалъ вплоть до своей смерти. «Неподготовленный къ какому-нибудь спеціальному отдѣлу, Татищевъ — говоритъ Милюковъ—тѣмъ свободнѣе схватываетъ цѣлое и всюду вноситъ въ объясненіе прошлаго свой личный жизненный опытъ: какой-нибудь хорошо знакомый ему обычай судей, ской практики или свѣжее воспоминаніе о нравахъ XVII-го вѣка-концу котораго принадлежитъ его дѣтство и юношество, даютъ ему возможность понять жизненный смыслъ нашего московскаго законодательства, личное знакомство съ инородцами уясняетъ ему нашу древнюю этнографію, а въ ихъ живомъ языкѣ онъ ищетъ объясненія древнихъ именъ и географическихъ названій».

Татищевъ въ смыслѣ черной, подготовительной работы сдѣлалъ очень много: его примѣчанія не утеряли своей цѣны и по нынѣ. Но, разумѣется, его трудъ—не исторія, а лишь подготовленіе къ ней. Время для исторіи должно было наступить еще очень не скоро.

Послѣ Татищева на томъ-же поприщѣ испробовалъ свои силы Ломоносовъ, такъ какъ государыня Елизавета Петровна пожелала видѣть исторію, его «штилемъ написанную». Задача сводилась главнымъ образомъ къ красотѣ описанія и восхваленію прошлаго, чтобы «всякъ, кто увидитъ въ россійскихъ преданіяхъ равныя дѣла и героевъ, греческимъ и римскимъ подобныхъ, не имѣлъ бы основанія унижать насъ передъ оными». Въ результатѣ появилось нѣчто вродѣ героической поэмы, надутой и не искренней, но въ выдержанномъ высокомъ штилѣ. О достовѣрности Ломоносовъ не заботился, и надо удивляться, какъ это онъ еще сравнительно мало перевралъ фактовъ.

Всѣ недостатки ломоносовскихъ пріемовъ были доведены до крайности Эминомъ, личность котораго положительно интересна. Вотъ что между прочимъ говоритъ о немъ Карамзинъ:

«Самый любопытный изъ романовъ г. Эмина есть собственная жизнь его, какъ онъ разсказывалъ ее своимъ пріятелямъ, а самый неудачный—Россійская его исторія. Онъ родился въ Польшѣ, былъ воспитанъ езуитомъ, странствовалъ съ нимъ по Европѣ и Азіи, неосторожно заглянулъ въ гаремъ турецкій, для спасенія жизни своей принялъ магометанскую вѣру, служилъ янычаромъ, тихонько уѣхалъ изъ Константинополя въ Лондонъ, явился тамъ къ нашему Министру, снова крестился, пріѣхалъ въ Петербургъ и сдѣлался русскимъ авторомъ.—Вотъ богатая матерія для шести или семи томовъ! Сочинивъ «*Мирамонда*», «*Ѳемистокла*», «*Эрнеста и Дораву*», «*Описаніе Турецкой Имперіи*», «*Путь ко спасенію*», онъ издавалъ журналъ подъ именемъ «*Адской Почты*» и наконецъ увѣнчалъ свои творенія «*Россійскою Исторіею*», въ которой ссылается на «*Полибіевы Извѣстія о Славянахъ*», *на Ксенофонтову* «*Скиѳскую Исторію*» и множество другихъ книгъ, никому въ мірѣ неизвѣстныхъ. Ученый и славный Шлёцеръ всего болѣе удивляется тому, что Академія напечатала ее въ своей типографіи. — Впрочемъ г. Эминъ неоспоримо имѣлъ остроуміе и плодовитое воображеніе; зналъ, по его увѣренію, болѣе десяти языковъ; хотя выучился по-русски уже въ среднихъ лѣтахъ, однакожъ въ слогѣ его рѣдко примѣтенъ иностранецъ».

Болѣе безцеремоннаго исторіографа вѣроятно не было на землѣ. Эминъ ссылается на несуществующіе источники, развязно бранитъ не только Байера, а даже самого Нестора, но вретъ красиво.

Чтобы дать читателю понятіе о томъ, какъ писалась у насъ придворная исторія, г. Милюковъ приводитъ разсказъ Ломоносова и Эмина о мщеніи Ольги.

Ломоносовъ:

«Веселящимся и даже до отягощенія упившимся древлянамъ казалось, что уже въ Кіевѣ повелѣваютъ всѣмъ странамъ россійскимъ и въ буйствѣ поносили Игоря передъ супругой его всякими хульными словами. Внезапно избранные проводники Ольгины, по данному знаку, съ обнаженнымъ оружіемъ ударили на пьяныхъ; надежду и наглость ихъ пресѣкли смертью».

Эминъ:

«Яко разъяренные львы, которые, долгое время не имѣя пищи, нашедъ какого либо звѣря, въ малыя онаго терзаютъ частицы, такъ кіевцы, долгое время слушая древлянъ, поносящихъ бывшаго ихъ

государя имя, и зато отомстить времени ожидая, съ чрезмѣрною на нихъ бросились яростью и въ мельчайшія мечами своими ихъ разсѣкали частицы. Ольга, пока взошедъ на могилу своего супруга, прослезясь, сіи молвила слова: «пріими, любезный супругъ, сію жертву и не думай, что она послѣдняя. Сколько силъ моихъ будетъ, стараться не премину о конечномъ убійцѣ твоихъ разореній».

Подобныхъ мѣстъ можно было бы привести сколько угодно, но и по одному читатель видитъ въ чемъ дѣло. Не надо думать однако, что героическія поэмы, называвшіяся «россійской исторіей, были лишены идейнаго содержанія. Напротивъ, всѣ онѣ проникнуты одной и той-же вполнѣ опредѣленной идеей,—именно, что русскій народъ великъ и что величіе его создано самодержавствомъ. Ломоносовъ и Эминъ видѣли самодержцевъ уже въ лицѣ первыхъ князей, такъ-же какъ и Екатерина II-я, называвшая Владиміра «единодержавнымъ».

Переходимъ теперь къ Щербатову и Болтину, труды которыхъ заслуживаютъ особеннаго нашего вниманія.

Щербатовъ, князь и важный чиновникъ, пріобрѣлъ довольно грустную репутацію своей упорной защитой крѣпостного права въ комиссіи уложенія. Чистокровный дворянинъ, онъ на все смотрѣлъ прежде всего съ точки зрѣнія дворянскихъ интересовъ, что̀ впрочемъ не мѣшало ему быть человѣкомъ умнымъ и проницательнымъ. Рекомендованный Екатеринѣ Миллеромъ для сочиненія исторіи, онъ во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ принялся за свой трудъ, къ которому отчасти былъ подготовленъ уже и раньше изученіемъ экономическаго положенія Россіи. Императрица разрѣшила ему брать нужныя ему бумаги изъ различныхъ библіотекъ, но, разумѣется, свободнаго доступа во всѣ архивы не открыла. Работалъ онъ очень быстро и въ четыре-пять лѣтъ довелъ уже свою исторію до нашествія татаръ. Въ то-же время онъ занимался изданіемъ различныхъ документовъ, относящихся главнымъ образомъ къ царствованію Петра Великаго. Особенную похвалу историковъ вызываетъ III-й томъ его труда, обработанный на основаніи архивныхъ матеріаловъ. «Это—пишетъ г. Милюковъ—былъ уже не сводный текстъ лѣтописи, какъ «Россійская Исторія» Татищева, не литературное произведеніе на мотивы русской исторіи, какъ исторія Ломоносова и его послѣдователей, не учебная книга по русской исторіи, какъ «Краткій Лѣтописецъ» Ломоносова,—это былъ первый опытъ связнаго и полнаго прагматическаго изложенія русской исторіи, основанный на всѣхъ главнѣйшихъ источникахъ, сохранившихся отъ нашего прошлаго».

Щербатовъ, въ сущности говоря, свернулъ на ту дорогу, по которой раньше шелъ Татищевъ. Онъ оставилъ бубны и литавры Ло-

моносова, пересталъ выбивать трели на историческомъ барабанѣ, а занялся дѣломъ болѣе полезнымъ, хотя и не такимъ замѣтнымъ, именно собираніемъ матеріала и установленіемъ связи въ грудѣ лѣтописныхъ фактовъ. Совершенно естественно поэтому, что публика его не читала, считая скучнымъ, что̀ справедливо. Хотя изрѣдка Щербатовъ рѣшается даже философствовать и постигать мотивы поступковъ, совершенныхъ тѣмъ или другимъ историческимъ лицомъ. Сплошного ряда героевъ и героинь у него нѣтъ: напротивъ, даже онъ гораздо болѣе склоненъ видѣть въ прошломъ проявленіе эгоизма, чѣмъ добродѣтели: «Хотя—говоритъ онъ напр.—конечно должность (т. е. долгъ) всякаго государя есть наиболѣе всего пользу и спокойствіе своихъ народовъ наблюдать, но, къ несчастію рода человѣческаго, исторія свѣта намъ часто показываетъ, что благо государства былъ только видъ, прямая-же причина дѣяній—или славолюбіе, или собственное какое пристрастіе государей». Это уже значительный шагъ впередъ по сравненію съ героическими поэмами.

Гораздо талантливѣе Щербатова является его соперникъ и критикъ Болтинъ, дворянинъ, чиновникъ, помѣщикъ и любитель русской исторіи. Въ печати онъ выступилъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ: «Отъ 1783 г. до 1792 г. печаталась шеститомная «Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne» Леклерка. Авторъ, бывшій домовой врачъ гетмана Разумовскаго, весьма плодовитый писатель по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, находился въ Россіи въ 1759 и въ 1769—75 гг. Задумавъ уже тогда писать о русской исторіи, онъ обратился къ нѣкоему Сабакину, который съ помощью двухъ подвѣдомственныхъ чиновниковъ сдѣлалъ для Леклерка обширныя извлеченія изъ рукописей различныхъ архивовъ и синодальной библіотеки и перевелъ эти извлеченія на французскій языкъ. Затѣмъ онъ представился князю Щербатову, какъ будущій сочинитель русской исторіи, и отъ него получалъ точное «резюмэ національной исторіи» отъ Рюрика до Ѳедора Ивановича, проспектъ для исторіи русскаго законодательства и матеріалы по исторіи искусствъ и дворянства въ Россіи. Наконецъ онъ очень сильно воспользовался «Опытомъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ» Новикова. Съ этимъ багажомъ и при почти полномъ незнаніи русскаго языка, но съ твердой увѣренностью въ свой литературный талантъ, Леклеркъ принялся за работу. Къ Россіи онъ отнесся жестоко. Россія—для него страна невѣжества и деспотизма, народъ пребываетъ въ состояніи варварства, рабства и суевѣрія. «Государи—пишетъ Леклеркъ—могутъ все, что̀ хотятъ, когда они благое въ виду имѣютъ; довольно имъ только по-

желать, чтобы ихъ государство было цвѣтущимъ, а народы—блаженными», но до сихъ поръ они желали только держать народъ для собственнаго спокойствія въ состояніи первобытной дикости и угнетенія. Въ результатѣ, «въ Россіи нѣтъ достаточныхъ побужденій къ размноженію населенія; количество жителей не соотвѣтствуетъ громадности страны, и всѣ средства народа истощаются на потребности внѣшней защиты».

Патріотизмъ Болтина былъ задѣтъ, и онъ принялся возражать Леклерку, не оставляя безъ примѣчанія, поправки или опроверженія ни одной его фразы. «Значеніе труда Болтина заключается прежде всего въ его общей точкѣ зрѣнія на историческія явленія, во-вторыхъ—въ приложеніи этой точки зрѣнія къ объясненію русскаго историческаго процесса»—говоритъ Милюковъ.

Общая точка зрѣнія Болтина была по существу противоположна отрицанію Леклерка. Тамъ, гдѣ Леклеркъ находитъ одно отсутствіе или злоупотребленіе разума, Болтинъ предполагаетъ дѣйствіе историческаго закона. Дѣйствіе это всегда и вездѣ одинаково: «правила природы повсюду суть однообразны; во всѣхъ временахъ и во всѣхъ мѣстахъ человѣкъ, находясь въ одинакихъ обстоятельствахъ, имѣлъ одинакіе нравы, сходныя мнѣнія и являлся подъ одинакимъ видомъ». Значительную роль въ жизни народа Болтинъ отводитъ климату. «Главное вліяніе — говоритъ онъ—на человѣческіе нравы, на качества сердца и души имѣетъ климатъ, прочія-же побочныя обстоятельства, яко форма правленія, воспитаніе и пр., частію токмо содѣйствуютъ ему или дѣйствіямъ его принятіе творятъ».

Въ трудахъ Болтина мы имѣемъ передъ собой несомнѣнную попытку философствованія надъ исторіей, хотя попытку очень робкую и какъ бы боящуюся имѣть дѣло съ большимъ кругомъ явленій. Отдѣльныя замѣчанія Болтина надо признать очень цѣнными, особенно для его времени. Сопоставляя Россію съ Европой, онъ указываетъ на несходство ихъ исторіи, объясняя его различіемъ «физическихъ мѣстоположеній». Тѣ-же условія создали отличія и въ нравахъ, въ складѣ народнаго характера. Ходъ русской исторіи вліялъ въ томъ-же направленіи; раздробленіе на части и татарское иго задержали увеличеніе народонаселенія; то-же самое раздѣленіе народа на удѣльныя княженія произвело «различіе въ нравахъ, обычаяхъ и богочтеніи». Но въ Россіи этой внутренней, областной розни было гораздо менѣе, чѣмъ на Западѣ; менѣе было и такихъ чувствительныхъ и скорыхъ перемѣнъ, какъ въ Европѣ; нравы, платье, языкъ, названіе людей и страны остались тѣ-же, какіе были прежде, исклю-

чая малыя нѣкоторыя перемѣны въ общежительныхъ обрядахъ, повѣрьяхъ и въ нѣсколькихъ словахъ языка, кои мы заимствовали отъ татаръ. Послѣ объединенія Руси «и нравы, и обычаи стали почти сходными», «народонаселеніе стало быстро увеличиваться. Съ перемѣнами въ условіяхъ жизни измѣняются и нравы, нужно только терпѣніе и время».

Терпѣніе и время—таковы принципы Болтина, которые онъ педантично и аккуратно проводитъ въ своихъ примѣчаніяхъ сначала на Леклерка, затѣмъ на Щербатова.

Что-же, спрашивается, теперь могъ найти Карамзинъ у своихъ предшественниковъ. Нѣмцы, особенно Шлёцеръ, должны были научить его пріемамъ строгой исторической критики. Татищевъ завѣщалъ ему сводъ лѣтописей, Щербатовъ—массу полуобработаннаго матеріала, Болтинъ—попытку философски изложить исторію, хотя только въ частностяхъ. Это не много, но кое-что. Тѣмъ удивительнѣе, что Карамзинъ, какъ увидимъ, свернулъ съ прямого научнаго пути и, вернувшись къ преданіямъ Ломоносова, поставилъ себѣ прежде всего задачей раскрасить исторію высокимъ «штилемъ» и неумолкаемой мелодіей «громъ побѣды раздавайся»...

VII.

«Исторія Государства Россійскаго».

Обстановка, среди которой пришлось работать Карамзину, была какъ нельзя болѣе подходящей. Матеріально онъ былъ обезпеченъ и могъ не думать о завтрашнемъ днѣ; вторая его жена, Катерина Андреевна, несмотря на свою молодость, не только не мѣшала, а даже помогала ему въ его занятіяхъ; его здоровье никогда не бывало особенно крѣпкимъ, не грозило однако никакими серьезными препятствіями къ труду. Цѣлые годы прошли незамѣтно въ разборѣ рукописей, изученіи архивнаго матеріала, писаніи и корректурахъ.

Лѣто 1804 г. и слѣдующія онъ провелъ въ Остафьевѣ—имѣніи князя Вяземскаго, отца своей жены. Погодинъ, посѣтившій это, какъ онъ выражается, святилище русской исторіи, подробно описываетъ обстановку, окружавшую исторіографа. Нѣсколькими строками изъ его описанія мы воспользуемся сейчасъ-же.

«Огромный барскій домъ въ нѣсколько этажей возвышается на пригоркѣ; внизу за луговиною блещетъ обширный проточный прудъ; въ сторонѣ отъ него—сельская церковь, осѣненная густыми липами. По другую сторону дома—обширный тѣнистый садъ. Кабинетъ Ка-

рамзина помѣщается въ верхнемъ этажѣ, въ углу, съ окнами, обращенными къ саду. Ходъ былъ къ нему по особенной лѣстницѣ.

«Въ кабинетѣ — голыя штукатуренныя стѣны, выкрашенныя бѣлою краской, широкій сосновый столъ, въ переднемъ углу подъ окнами стоящій, ничѣмъ не прикрытый простой деревянный стулъ, нѣсколько козловъ, съ наложенными досками, на которыхъ раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного шкапа, ни креселъ, ни дивановъ, ни этажерокъ, ни пюпитровъ, ни ковровъ, ни подушекъ. Нѣсколько ветхихъ стульевъ около стѣнъ въ безпорядкѣ—

Все утвари простыя,
Все рухлая скудель:
Скудель, но мнѣ она дороже,
Чѣмъ бархатное ложе
И вазы богачей.

«На темномъ полу, покрытомъ пылью и соромъ, сверкали мнѣ въ глаза бриллiанты, изумруды, яхонты, крупицы, упавшія отъ трапезы вдохновеннаго писателя!

«Вставалъ Карамзинъ обыкновенно, по свидѣтельству князя П. А. Вяземскаго въ отвѣтъ на мои вопросы, часу въ 9 утра, тотчасъ послѣ дѣлалъ прогулку пѣшкомъ или верхомъ, во всякое время года и во всякую погоду. Прогулка продолжалась часъ. Возвратясь съ прогулки, завтракалъ онъ съ семействомъ, выкуривалъ трубку турецкаго табаку и тотчасъ послѣ уходилъ въ свой кабинетъ и садился за работу вплоть до самаго обѣда, т. е. до 3-хъ или до 4-хъ часовъ. Помню одно время,—пишетъ князь Вяземскій,—когда онъ, еще при отцѣ моемъ, съ нами даже не обѣдывалъ, а обѣдалъ часомъ позднѣе, чтобы имѣть болѣе часовъ для своихъ занятій. Это было въ первый годъ, что онъ принялся за «Исторію». Во время работы отдохновеній у него не было, и утро его исключительно принадлежало «Исторіи» и было ненарушимо и неприкосновенно. Въ эти часы ничто такъ не сердило и не огорчало его, какъ посѣщеніе, отъ котораго онъ не могъ избавиться. Но эти посѣщенія были очень рѣдки. Въ кабинетѣ жена его часто сиживала за работою или за книгою, а дѣти играли, а иногда и шумѣли. Онъ, бывало, взглянетъ на нихъ, улыбаясь, скажетъ слово и опять примется писать».

О ходѣ своей работы Карамзинъ довольно часто давалъ отчетъ Муравьеву, къ нему-же онъ обращался съ просьбами о пособіяхъ, книгахъ, чинахъ. Какъ исторіографъ, онъ былъ немедленно же произведенъ въ надворные совѣтники, къ чему въ это время онъ уже не проявлялъ равнодушія.

Вступленіе досталось ему съ большимъ трудомъ. «Надлежало— разсказываетъ онъ, сообразить все написанное Греками и Римлянами о нашихъ странахъ отъ Геродота до Амміона Морцелина, въ написанное Византійскими историками о Славянахъ и другихъ народахъ, которыхъ исторія имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ Россійской».

Радостей ученаго Карамзину пришлось испытать много. Случались счастливыя находки, напримѣръ Лаврентьевскій списокъ лѣтописи, удавалось постоянно исправлять неточности у Щербатова и Болтина. Но, разумѣется, было не мало и разочарованій. Главное заключалось въ томъ, что работа затягивалась и оказывалась неизмѣримо труднѣе, чѣмъ предполагалъ Карамзинъ. Онъ надѣялся въ шесть лѣтъ дойти до воцаренія Романовыхъ, а не дошелъ до этого событія, какъ увидимъ, и въ двадцать. Находки и открытія часто заставляли его совершенно передѣлывать написанное, глаза мѣшали работать иногда по цѣлымъ недѣлямъ. Нѣсколько отрывковъ изъ писемъ Карамзина къ брату введутъ насъ въ его тихую труженическую жизнь, не лишенную своеобразной поэзіи:

Отъ 21 января 1805 г.... «Я продолжаю работать, и думаю, что мнѣ не отдѣлаться отъ Кіева: надобно будетъ туда съѣздить».

Отъ 26 марта. «Работа моя идетъ медленно. Пишу второй томъ, еще о временахъ Рюрика. Если Богъ продолжитъ ко мнѣ свою милость, то къ зимѣ могу начать третій. Несмотря на то, что многими книгами пользуюсь даромъ, я долженъ еще издерживать не мало денегъ на покупку иностранныхъ книгъ».

Іюня 13... «Теперь мы живемъ въ деревнѣ, гдѣ, по своему обыкновенію, я много работаю и читаю, хотя не могу быть совершенно доволенъ своимъ здоровьемъ».

Сентября 28... «Вообразите, что съ исхода іюля по сейчасъ я еще не принимался за перо для продолженія своей «Исторіи»: и теперь еще не пишу. Это мнѣ прискорбно; но я радуюсь своимъ выздоровленіемъ, какъ ребенокъ. Въ нѣкоторыя минуты болѣзни казалось мнѣ, что я умру, и для того, несмотря на слабость, разобралъ всѣ книги и бумаги государственныя, взятыя мною изъ разныхъ мѣстъ, и надписалъ что куда возвратить. Нынѣ гораздо пріятнѣе для меня снова разобрать ихъ. Жизнь мила, когда человѣкъ счастливъ домашними и умѣетъ заниматься безъ скуки».

Ноября 20. «Болѣзнь послужила мнѣ, кажется, къ добру. Теперь я, слава Богу! очень доволенъ своимъ здоровьемъ и, желая сохранить его, работаю менѣе».

«Вы желаете знать, любезнѣйшій братъ, какъ я далекъ въ своей «Исторіи»: оканчиваю II томъ и дошелъ до введенія Христіанской вѣры».

Черезъ три года Карамзинъ добрался до нашествія татаръ, дальше работа пошла легче и самый матеріалъ былъ интереснѣе и легче подвергался литературной обработкѣ, хотя географія и хронологія продолжали требовать усиленнаго и кропотливаго труда.

Ступивши разъ на путь почестей и карьеры, Карамзинъ уже не сходилъ съ него до самой смерти. Въ 1809 г. онъ былъ представленъ В. К. Екатеринѣ Павловнѣ и сталъ пользоваться особеннымъ ея расположеніемъ. Чтобы имѣть его поближе къ себѣ, она предложила даже ему тверское губернаторство, но онъ отказался, отвѣтивъ что будетъ или дурнымъ историкомъ, или дурнымъ губернаторомъ. Милости двора, ордена и ленты, получаемые Карамзинымъ, возбуждали зависть. Дѣло не обходилось безъ доносовъ. Вотъ образчикъ этой мерзости, характерной прежде всего потому, что даже такой человѣкъ, какъ Карамзинъ, не могъ отъ нея отдѣлаться:

«Имѣя толь вѣрный случай, рѣшился писать къ В. С... и о томъ, чего бы не хотѣлъ ввѣрить почтѣ. Ревнуя о единомъ благѣ, стремясь къ единой цѣли, не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина; вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобинскаго яда. Но его послѣдователи и одобрители подняли теперь еще болѣе голову, ибо его сочиненія одобрены пожалованіемъ ему ордена и рескриптомъ, его сопровождавшимъ. О семъ надобно очень подумать, буде не для насъ, то для потомства. Государь не знаетъ, какой гибельный ядъ въ сочиненіяхъ Карамзина кроется. Оныя сдѣлались классическими. Какъ могу то воспретить, когда оныя рескриптомъ торжественно одобрены. Карамзинъ явно проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочиненія, а надобно бы ихъ сжечь. Вы не по имени Министръ Просвѣщенія, вы—мужъ вѣдающій, что есть истинное просвѣщеніе, вы—орудіе Божіе, озаренное внутреннимъ свѣтомъ и подкрѣпляемое силою свыше; васъ безъ всякаго исканія самъ Господь призвалъ на дѣло его и на распространеніе его свѣта; въ планѣ неисповѣдимыхъ судебъ его вы должны быть органомъ его истины, вопіющимъ противу козней лукаваго и его проклятыхъ орудій. И вы, и я дадимъ отвѣты предъ судомъ Божіемъ, когда не ополчимся противу сего яда, во тьмѣ пресмыкающагося, и не поставимъ оплота сей тлетворной водѣ, всякое благочестіе потопить угрожающей. Ва-

ше есть дѣло открыть Государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготѣ, яко врага Божія, и врага всякаго блага и яко орудіе тьмы.

«Я долженъ сіекъ вамъ написать, дабы не имѣть укоризны на совѣсти; еслибы я не былъ Попечитель, я бы вздыхалъ, молился и молчалъ, но увѣренъ будучи, что Богу дамъ отвѣтъ за ввѣренное мнѣ стадо, какъ я умолчу предъ вами, и начальникомъ моимъ, и благодѣтелемъ. Карамзина превозносятъ, боготворятъ! Во всемъ Университетѣ, въ пансіонѣ читаютъ, знаютъ наизусть, что изъ этого будетъ? Подумайте и попечитесь о семъ. *Онъ цѣлитъ не менѣе, какъ въ Сіесы или въ первые Консулы*,—это здѣсь всѣ знаютъ и всѣ слышатъ».

Подчеркнутая фраза особенно мила!

Въ 1812 году Карамзинъ вмѣстѣ съ Россіей видѣлъ пожаръ и разореніе Москвы. Несмотря на наши пораженія, онъ предвидѣлъ паденіе Наполеона, и предчувствіе не обмануло его. «У Наполеона—говоритъ онъ – все движется страхомъ, насиліемъ, отчаяніемъ; у насъ все дышетъ преданностью, любовью, единодушіемъ. Тамъ сборъ народовъ, имъ угнетаемыхъ и въ душѣ его ненавидящихъ, здѣсь—одни Русскіе. Мы дома, онъ какъ бы отрѣзанъ отъ Франціи. Сегодня союзники Наполеона за него, а завтра они всѣ будутъ за насъ...»

Въ 1813 г. Карамзинъ вновь взялся за исторію и наконецъ въ 1816 г., закончивъ первые 8 томовъ, приступилъ къ печатанію ихъ.

* *
*

Хороша ли исторія Карамзина? Оправдываетъ ли она вѣковую (почти) славу, которой пользуется авторъ. Посмотримъ прежде всего, какъ была встрѣчена исторія современниками.

Дворъ былъ доволенъ, Карамзинъ получилъ аудіенцію у Государя и «былъ осыпанъ ласками и милостями». Вдовствующая Императрица Марія Ѳеодоровна прислала ему перстень съ своимъ портретомъ. Королева Виртембергская написала ему лестное письмо. Высшее общество было заинтересовано. «Я—расказываетъ Стурдза—встрѣтилъ въ первый разъ Карамзина въ гостиной Софьи Петровны Свѣчиной; онъ читалъ намъ вслухъ блистательный отрывокъ изъ своей «Исторіи», а именно сказаніе о Дмитріѣ Донскомъ; я внималъ ему въ толпѣ слушателей, отчасти любопытныхъ, отчасти недовѣрявшихъ его учености и таланту. Сквозь легкомысліе, вѣжливое лицемѣріе нѣкоторыхъ проглядывало глубокое, иногда забавное из-

умленіе. Эти домашнія чтенія повторялись во многихъ почетныхъ семьяхъ; вездѣ сыпались на автора похвалы, которыя онъ принималъ безъ услады и восторга, просто, съ неподражаемымъ добродушіемъ».

Большая публика раскупила 3,000 экземпляровъ «Исторіи» въ *25 дней,* несмотря на высокую цѣну—45 р. за экземпляръ.

Успѣхъ былъ повидимому полный, однако небольшая интеллигентная часть общества была противъ «Исторіи». Одинъ изъ нихъ, Н. М. напримѣръ, написалъ записку, ходившую по рукамъ и начинавшуюся словами: «Исторія принадлежитъ народамъ»—въ противоположность заключенію Карамзина въ посвятительномъ письмѣ: «Исторія народа принадлежитъ Царю». Тогда же по поводу «Исторіи» начался въ миніатюрѣ знаменитый по нынѣшнимъ временамъ споръ о непротивленіи злу. Карамзинъ писалъ между прочимъ: «Но и простой гражданинъ долженъ читать «Исторію». Она миритъ его съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ; утѣшаетъ въ государственныхъ бѣдствіяхъ, свидѣтельствуя, что и прежде бывали подобныя, бывали ужаснѣйшія, и государство не разрушалось».

Н. М. возражаетъ:

«Конечно несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земного; но Исторія должна ли только мирить насъ съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіетизма? Въ томъ ли состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное бытописаніе воспламенить обязано? *Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ;* добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противу заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства, не пища чувствительности, не забавы праздности составляютъ предметъ Исторіи. *Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя силы наши и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами Исторіи праотцы взываютъ къ намъ: «Не посрамите земли Русскія!»*

Надо согласиться, что всѣ возраженія попадали не въ бровь, а прямо въ глазъ. Приводя напримѣръ мнѣніе Карамзина, что «въ Исторіи красота повѣствованія и сила есть главное» — онъ говоритъ: «Мнѣ кажется, что главное въ исторіи есть *дѣльность* оной. Смотрѣть на исторію *единственно какъ на литературное произведеніе—уничижать оную».* Но вѣдь дѣльности-то прежде всего и нѣтъ у Карамзина.

Однимъ изъ важнѣйшихъ нравоученій «Исторіи» Карамзинъ считалъ то, что она разсказываетъ намъ, «какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть обуздывала ихъ бурное стремленіе...»

Смѣло, но вполнѣ въ духѣ времени увлекавшійся народовластіемъ, Н. М. отвѣчаетъ:

«Какой умъ можетъ предвидѣть и объять волненія общества? Какая рука можетъ управлять ихъ ходомъ? Кто дерзнетъ въ высокомѣріи своемъ *насильствами* учреждать и самый порядокъ? Кто противостанетъ одинъ общему мнѣнію? Мудрый и добродѣтельный человѣкъ не прибѣгнетъ въ такихъ обстоятельствахъ ни къ ухищренію, ни къ силѣ. Слѣдуя общему движенію, благая душа его будетъ только направлять оное уроками умѣренности и справедливости. Насильственныя средства и беззаконны, и гибельны; ибо высшая политика и высшая нравственность — одно и то-же. Къ тому же существа, подвергнутыя страстямъ, въ правѣ ли гнать за оныя? Страсти суть необходимыя принадлежности человѣка и орудія Промысла, непостижимаго для ограниченнаго ума нашего. Не ими ли влекутся народы къ цѣли всего человѣчества? Въ нравственномъ, равно какъ и физическомъ мірѣ согласіе цѣлаго основано на бореніи частей».

Для М. смыслъ исторіи—борьба, развитіе, стремленіе къ прогрессу, для Карамзина— порядокъ и благотворное обузданіе мятежныхъ страстей,

Пушкинъ написалъ на «Исторію» эпиграмму:

Послушайте меня, я сказку вамъ скажу,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгородъ и время золотое,
И наконецъ про Грознаго Царя.
И, бабушка, затѣяла пустое:
Докончи намъ Илью-богатыря.

Канцлеръ Румянцевъ былъ очень недоволенъ Карамзинымъ за то, что тотъ проводитъ взгляды «contraires aux idées liberales», т. е. взгляды, противные либеральнымъ идеямъ.

Нельзя поэтому говорить, что Карамзина не поняли. Напротивъ, къ его труду отнеслись съ полною независимостью и прежде всего были недовольны, что онъ далъ исторію государства, князей, правительства—не народа. Его реторика подкупала и подчиняла массу, но были люди, искавшіе дѣльности. Карамзинъ хотѣлъ учить людей путемъ исторіи любви къ добродѣтели и вселять въ нихъ отвра-

щеніе къ пороку. Но не тому хотѣли учиться у исторіи передовые его современники: они искали въ ней уроковъ политической и гражданской свободы, а вмѣсто этого Карамзинъ съ воодушевленіемъ методистскаго пастора говорилъ имъ:

«Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ, совѣстью и довѣренностью къ Провидѣнію. Свободу даетъ не Государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ, съ помощью Божіей.»

Эти проповѣди претили многимъ.

Спросимъ себя теперь, что мы можемъ требовать отъ исторіи и какую исторію можемъ мы признать удовлетворительной?..

До сихъ поръ съ нѣкоторымъ колебаніемъ рѣшаются отвѣтить утвердительно на вопросы, можно ли назвать наукой изученіе исторической жизни человѣчества? можетъ ли процессъ исторіи по его сущности сдѣлаться предметомъ обособленной науки?

На это готовы отвѣтить отрицательно, во-первыхъ, тѣ, которые видятъ въ исторіи лишь болѣе или менѣе искусный докладъ о фактахъ, какъ они были, и не пытаются даже понять совокупность событій, гдѣ случайность играетъ громадную роль, а сложность побужденій такъ велика, что научные пріемы кажутся неприложимыми къ точному анализу этихъ событій; тамъ-же, гдѣ отказываются отъ пониманія и ограничиваются перечисленіемъ, можетъ быть накопленіе знаній, но конечно нѣтъ науки.

На поставленные вопросы отрицательный отвѣтъ можетъ получиться и изъ лагеря *романтиковъ* исторій, которые ожидаютъ отъ послѣдней лишь воскрешенія прошлыхъ эпохъ въ ихъ конкретной особенности. Романтизмъ заключаетъ въ себѣ существеннымъ элементомъ требованіе внести во всѣ области жизни и мысли задачи искусства и перестроить ту и другую по типу эстетическаго творчества. Совершенно понятно, что онъ поставилъ исторіи ту-же задачу. Воскрешеніе прошлаго тѣмъ полнѣе достигаетъ совершенства, чѣмъ болѣе въ воображеніи писателя обособляется каждая эпоха отъ того, что ей предшествовало, и отъ того, что за нею слѣдовало. Оно будетъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ полнѣе и нераздѣльнѣе сливаются въ гармоническій образъ всѣ элементы эпохи: и полусознательныя привычки, и работа критической мысли, и то, что она унаслѣдовала отъ прошлаго, и то, что готовилась передать будущему. Это художественное воскрешеніе можетъ наконецъ совершиться тѣмъ удобнѣе, чѣмъ лучше удается историку-артисту посмотрѣть на эпоху ея современника, для котораго оцѣнка важнаго и не важнаго, существеннаго и второстепеннаго опредѣляется привычками жизни. Та-

кимъ образомъ можетъ получиться замѣчательное произведеніе искусства. Но оно можетъ быть научно лишь помимо воли автора, такъ какъ научная задача *понять* эпоху заключаетъ иныя требованія: именно *связь* эпохи съ прошлымъ и будущимъ должна быть понята; необходимо отдѣлить элементъ прошлаго и будущаго, соединенные въ ней, необходимо *оцѣнить* ея явленія съ точки зрѣнія передовыхъ требованій того времени, когда живетъ историкъ. Историки-воскресители въ своихъ созданіяхъ, которыя могутъ быть такъ-же безсмертны, какъ безсмертны всѣ замѣчательныя произведенія искусства, даютъ безцѣнный матеріалъ для исторіи-науки, но она отъ своихъ дѣятелей требуетъ иного.

Чего-же?

1. Прежде всего строгой критики при пользованіи фактами. Безъ этой почвы историческаго знанія не существуетъ и не можетъ появиться научной исторіи.

2. Установленіе *необходимой* связи и зависимости послѣдующаго отъ предыдущаго, съ указаніемъ, что̀ именно въ данную эпоху является пережиткомъ прошлаго и залогомъ будущаго. Пока для какого-нибудь періода болѣе или менѣе крупное новое общественное явленіе представляется намъ возникшимъ какъ-бы случайно, поражая своею неожиданностью, до тѣхъ поръ этотъ періодъ остается внѣ научной исторіи, а принадлежитъ лишь къ области описательнаго ея подготовленія.

3. Отдѣленіе существенныхъ элементовъ развитія отъ несущественныхъ. Вопросъ этотъ рѣшается просто, если допустить, что въ исторіи двигателемъ развитія является мысль человѣка, перерабатывающая общественныя формы сообразно съ своими требованіями. Разъ нѣтъ дѣятельности мысли — нѣтъ исторіи. Но мысль дѣйствуетъ не въ пустомъ пространствѣ, ее окружаютъ формы общежитія, церковное и государственное устройство, экономическія условія и т. д. Историкъ долженъ изучить эти формы, указать на ихъ отношеніе къ мысли и вліяніе мысли на нихъ. Что̀ заставило ихъ побѣдить или сойти со сцены? Годятся ли онѣ для осуществленія общечеловѣческаго счастья или нѣтъ?

Вотъ вопросы историка.

Карамзинъ не ставитъ себѣ ни одного изъ нихъ, не отвѣчаетъ ни на одинъ изъ нихъ. Прежде всего онъ смотритъ на исторію, какъ на литературное художественное произведеніе, на своего рода поэму. «Изложеніе—это главное», говоритъ онъ. Сдѣлавшись исторіографомъ, онъ не измѣнилъ своимъ привычкамъ журналиста и автора повѣстей. Онъ дѣйствуетъ на читателя музыкою своихъ фразъ,

трогательностью своихъ описаній. Онъ рисуетъ, но не убѣждаетъ. Возьмите напр. слѣдующее мѣсто и посмотрите, какъ ничтожно содержаніе громкихъ фразъ, наполняющихъ его:

«Отселѣ Исторія наша пріемлетъ достоинство истинно Государственной, описывая уже не безсмысленныя драки княжескія, но дѣянія Царства, пріобрѣтающаго независимость и величіе. Разновластіе исчезаетъ съ нашимъ подданствомъ; образуется держава сильная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которыя, видя оную съ удивленіемъ, предлагаютъ ей знаменитое мѣсто въ ихъ системѣ политической. Уже союзы и войны наши имѣютъ важную цѣль: каждое особенное предпріятіе есть слѣдствіе главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народъ еще коснѣетъ въ невѣжествѣ, въ грубости, но правительство уже дѣйствуетъ по законамъ ума просвѣщеннаго. Устрояются лучшія воинства, призываются искусства, нужнѣйшія для успѣховъ ратныхъ и гражданскихъ; посольства великокняжескія спѣшатъ ко всѣмъ дворамъ знаменитымъ, посольства иноземныя одно за другимъ являются въ нашей столицѣ. Императоръ, Папа, Короли, Республики, Цари Азіятскіе привѣтствуютъ Монарха Россійскаго, славнаго побѣдами и завоеваніями отъ предѣловъ Литвы и Нова-Города до Сибири. Издыхающая Греція отказываетъ намъ остатки своего древняго величія. Италія даетъ первые плоды рождающихся въ ней художествъ. Москва украшается великолѣпными зданіями. Земля открываетъ свои нѣдра, и мы собственными руками извлекаемъ изъ оныхъ металлы драгоцѣнные. Вотъ содержаніе блестящей Исторіи Іоанна III, который имѣлъ рѣдкое счастіе властвовать 43 года и былъ достоинъ онаго, властвуя для величія и славы Россіи».

По поводу этихъ строкъ Погодинъ умиленно восклицаетъ: «Неужели это не музыка? Какая стройность, полнота, благозвучіе, величіе и т. д.». Но неужели, спросимъ мы себя, это исторія? А вѣдь подобныя мѣста заполняютъ цѣлые томы...

Исторіи мысли у Карамзина совершенно нѣтъ. Онъ не пользуется литературными памятниками, онъ весь поглощенъ портретной галлереей князей и царей, ихъ добродѣтелью или пороками; онъ преподаетъ намъ уроки нравственности и мотивъ: «сколь любезна добродѣтель»—слышенъ на каждой его страницѣ.

Необходимой связи событій нѣтъ у Карамзина. Мудрость правителей—единственная сила, которая создаетъ, регулируетъ событія. По *мудрости* Андрея Боголюбскаго столица была переведена на сѣверъ; по *мудрости* Калиты и его потомковъ создалось Московское государство; по *храбрости* Донского было свергнуто монгольское

иго. Исторія обратилась въ біографію, біографія въ большинствѣ случаевъ—въ оды Пиндара.

Надо удивляться терпѣнію Карамзина, съ какимъ онъ разбирается среди безчисленныхъ Всеволодовъ, Ивановъ, Мстиславовъ, не пропуская никого, чтобы не приголубить или не укорить каждаго изъ нихъ. Одинъ является мужественнымъ, другой—храбрымъ, третій—богобоязненнымъ, потомъ слѣдуютъ вѣроломные, коварные, чадолюбивые, невоздержанные и т. д.

Все это по преимуществу упражненіе въ стилѣ, такъ какъ для большинства своихъ характеристикъ Карамзинъ не имѣлъ ровно никакого основанія. Но такое раскрашиваніе входило въ его программу. «Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ—вотъ образцы,—пишетъ Карамзинъ и продолжаетъ:—Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю, нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и пр. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ. Родословныя князей, ихъ ссоры, междоусобія, набѣги половцевъ—не очень любопытны, соглашаюсь, но зачѣмъ наполнять ими цѣлые тома? Что̀ не важно, то сократить, но всѣ черты, которыя означаютъ свойства народа русскаго, характеръ нашихъ древнихъ героевъ, отмѣнныхъ людей, происшествія дѣйствительно любопытныя надо описать живо, разительно».

Карамзинъ смотрѣлъ на свою работу прежде всего какъ беллетристъ и литераторъ. Вотъ и еще одно изъ любопытныхъ его признаній.

«Галлерея наша, говорилъ онъ, открылась бы Ольгою и Гориславою; а среднія времена представили бы намъ изображеніе Греческой княжны Софіи, супруги князя Іоанна (которой Россія обязана первыми искрами просвѣщенія); матери царя Ивана Васильевича, имѣвшей слабости, но весьма умной; первой супруги его, прекрасной и любезной Анастасіи; Маріи Годуновой, которой добродѣтель обуздывала иногда Бориса въ жестокостяхъ его подозрительнаго характера, и трогательной, невинной Ксеніи. Правда, что русскіе лѣтописцы, въ которыхъ должно искать матеріаловъ для сихъ біографій, крайне скудны на подробности; однакожъ умъ внимательный, одаренный *историческою догадкою*, можетъ дополнить недостатки соображеніемъ, подобно какъ ученый любитель древностей, разбирая на какомъ-нибудь монументѣ старую греческую надпись по двумъ буквамъ... угадываетъ третью, изглаженную временемъ, и не ошибается.—Новѣйшая Русская Исторія имѣетъ также своихъ знаменитыхъ женщинъ: наименуемъ изъ нихъ Наталію Кирил-

ловну... Софію... Екатерину I. Не знаю, дозволитъ ли политика въ наше время философу-историку свободно и торжественно судить царствованія Анны и Елисаветы, но умный живописецъ-авторъ можетъ въ легкихъ чертахъ представить ихъ личные характеры съ хорошей стороны и безъ лести. Наконецъ не на одномъ тронѣ сочинитель долженъ искать лицъ для историческихъ портретовъ: онъ вспомнитъ напримѣръ сію графиню Головкину, которая добровольно промѣняла столицу на Сибирь и годъ жила въ землянкѣ съ мертвымъ тѣломъ супруга. Такое геройство супружеской любви давно бы прославлено было въ цѣломъ свѣтѣ, еслибы русскіе умѣли и любили хвалиться добродѣтелями русскихъ».

Смыслъ этихъ строкъ ясенъ: фактовъ мало, тѣ, которые есть, неособенно интересны, но если «раскрасить» и разгадывать цѣлыя подписи по двумъ уцѣлѣвшимъ буквамъ, то такую исторію не совѣстно будетъ показать даже иностранцамъ.

По поводу указаннаго излюбленнаго пріема Карамзина у г. Милюкова вырывается немало жесткихъ словъ.

«Итакъ—говоритъ онъ—не историческое изученіе, не разработка сырого матеріала исторіи, а художественный пересказъ данныхъ, уже узвѣстныхъ,—вотъ та заманчивая задача, которая рисовалась передъ воображеніемъ Карамзина до начала работы. «Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло ознаменовать себя пріятнымъ для ума образомъ»—повторяетъ Карамзинъ. Подъ «бѣднымъ предметомъ надо разумѣть здѣсь русскую исторію, а пріятно ознаменуетъ себя въ этомъ предметѣ «Исторія Государства Россійскаго».

На самомъ дѣлѣ у Карамзина искусство на каждой страницѣ пріятно себя знаменуетъ; что-же касается до установленія необходимой связи событій — то въ этомъ случаѣ дѣло обстоитъ далеко не такъ благополучно. Чтобы не быть голословнымъ, возьмемъ нѣсколько характерныхъ примѣровъ. Роль народа въ «Исторіи» Карамзина почти такая-же, какъ въ патріотическихъ драмахъ. Народъ является на сцену и начинаетъ галдѣть безъ всякаго толку. На ступеняхъ крыльца показывается «великій мужъ», сердце котораго пылаетъ любовью къ отечеству. Мужъ произноситъ нѣсколько словъ, и народъ съ крикомъ: «идемъ, бѣжимъ!» немедленно же устремляется, куда ему указано. Карамзинъ не только не заинтересовался народомъ, но даже психологія московской толпы, игравшей такую роль при Еленѣ Глинской, Иванѣ Грозномъ, Ѳедорѣ, Годуновѣ, Лжедмитріи, Шуйскомъ,—разработана у него по лубочному. А вѣдь въ то время толпа устраивала то и дѣло суды Линча

надъ нелюбимыми ею людьми. Могущество ея чувствовалось при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, Алексѣѣ, Софіи и было уничтожено лишь Петромъ Великимъ. Не видѣть исторической роли московской толпы въ XVI и XVII вѣкахъ значитъ страдать значительною близорукостью. Роль была сыграна, роль большая, серьезная, но у Карамзина вездѣ великіе мужи, а толпа только галдитъ, какъ въ знаменитой сценѣ избранія Годунова у Пушкина, написанной почти дословно по Карамзину. Нашъ исторіографъ быстро успокоился на мнѣніи, что славяне смиренномудры и кротки, и отказался приписать имъ когда бы то ни было активную роль въ исторіи.

Безъ вниманія къ народу, его поэзіи, его религіознымъ исканіямъ, безъ изслѣдованія промышленности, торговли и финансовъ—можно ли установить какую нибудь необходимую связь между событіями?

Даже какъ психологъ Карамзинъ дѣлаетъ громадные скачки. Какимъ образомъ добродѣтельный Иванъ IV его VIII-го тома становится сразу кровожаднымъ тираномъ IX-го? Историкъ утверждаетъ, что это *чудо*. Чудеса-же, какъ извѣстно, никакому анализу не подлежатъ.

Мнѣ кажется, что послѣ сказаннаго можно признать «Исторію» Карамзина почти непригодной для нашего времени. Значительно мягче должны мы будемъ отнестись къ ней, перенесясь за 80 лѣтъ назадъ.

Хотя Карамзинъ и преслѣдовалъ главнымъ образомъ литературныя цѣли, однако чисто научная работа постепенно увлекала и его. Мы уже видѣли, что онъ сдѣлалъ нѣсколько важныхъ открытій и ознакомилъ науку со многими новыми документами. Онъ же исправилъ массу неточностей у своихъ предшественниковъ.

Вся его важная работа изложена въ примѣчаніяхъ, занимающихъ добрую треть всего сочиненія.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія,—пишетъ г. Милюковъ,—что Карамзинъ приступилъ къ своему историческому труду безъ предварительной спеціально-исторической подготовки. Тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ, какъ критикъ и ученый, онъ сдѣлался уже во время самой работы, и конечно первенствующая роль въ этой выучкѣ принадлежитъ нѣмецкой школѣ. На первыхъ же порахъ Карамзинъ столкнулся съ авторитетомъ Шлёцера, ученые пріемы котораго должны были оказать на него самое рѣшительное вліяніе. Можно прослѣдить, какъ совершенствуются техническіе пріемы Карамзина подъ вліяніемъ нѣмецкаго образца, шагъ за шагомъ контролирующаго его собственную работу.

«Его примѣчанія оставляютъ вообще несомнѣнно болѣе выгодное впечатлѣніе, чѣмъ самый текстъ «Исторіи», и это объясняется не

столько критическимъ талантомъ автора, сколько его ученостью. Въ этомъ отношеніи надо отдать справедливость исторіографу: онъ усердно хлопоталъ о подборѣ новыхъ историческихъ матеріаловъ, въ значительной степени обновилъ фактическое обоснованіе разсказа и надолго сдѣлалъ свою «Исторію» необходимою для всякаго изслѣдователя христоматіей источниковъ русской исторіи».

Самая реторика Карамзина, которая такъ отталкиваетъ насъ, принесла долю пользы и заставила раскупить 3000 экземпляровъ въ 25 дней,—фактъ, до той поры неслыханный.

Но не надо забывать въ то же время, что взгляды Карамзина были значительно ниже, старообразнѣе взглядовъ многихъ и многихъ его современниковъ. Его взгляды оказываются оффиціальными, и слѣдовательно цѣнность ихъ относительна.

VIII.

Гражданскія убѣжденія Карамзина.—Послѣдніе годы его жизни.

Я уже упоминалъ выше объ отношеніяхъ Карамзина къ Вел. Кн. Екатеринѣ Павловнѣ, впослѣдствіи королевы Виртембергской. По ея просьбѣ, онъ написалъ свою знаменитую «Записку о Старой и Новой Россіи», обсужденіе которой заставляетъ насъ вернуться нѣсколько назадъ, именно къ 1811 году. Въ это время при дворѣ господствовало еще либеральное настроеніе, хотя мрачное и злое лицо Аракчеева все чаще и чаще начинало появляться въ кабинетѣ Государя. Но Сперанскій былъ еще въ силѣ, хотя всѣ его коренные проэкты лежали подъ спудомъ и составляли предметъ лишь платоническаго вниманія. Въ это то время Карамзинъ представилъ свою «Записку» Великой Княгинѣ, а черезъ нея—самому Государю.

Есть основаніе полагать, что Карамзинъ былъ только отголоскомъ общаго московскаго мнѣнія о новыхъ и постоянныхъ преобразованіяхъ царствованія Александра и редакторомъ старо-дворянской, противной Сперанскому партіи. Взгляды Карамзина въ «Запискѣ» на самомъ дѣлѣ старо-дворянскіе, немного даже славянофильскіе. Съ ними стоитъ ознакомиться поближе.

Замѣтивъ, что настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго, Карамзинъ приглашаетъ императора обратиться къ этому прошедшему и посмотрѣть, какіе уроки премудрости преподаетъ оно. Первый урокъ тотъ, что уже въ девятомъ и десятомъ столѣтіяхъ Россія была самодержавной страной, обильной, великой и славной, благодаря

крѣпкой и единой власти князя. Рюрикъ, Олегъ, Святославъ, Владиміръ—не князья-дружинники, не предводители смѣлыхъ ватагъ авантюристовъ, а самодержцы во вкусѣ XV-го и XVI-го столѣтій. «Они заплатили своимъ подданнымъ славою и добычею за утрату прежней вольности, бѣдной и мятежной». Карамзинъ забываетъ дружину, забываетъ, что такой храбрый генералъ, какъ Святославъ, уже по самому характеру своему не могъ быть *гражданскимъ* царемъ, и возвращается къ точкѣ зрѣнія Ломоносова, Эмина. Екатерины II-й, которые въ каждомъ Всеволодѣ, Мстиславѣ или Изяславѣ видѣли чуть ли не византійскаго императора. Усиліями упомянутыхъ первыхъ самодержцевъ Россія стала не только обширнымъ, но, въ сравненіи съ другими, и *самымъ образованнымъ* государствомъ. Къ несчастію однако, она раздѣлилась. «Открылось жалкое междуусобіе малодушныхъ князей, которые, забывъ славу и пользу отечества, рѣзали другъ друга и губили народъ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городокъ къ своему удѣлу». Попытки возстановить единодержавство были слабы, недружны, и Россія втеченіе двухъ вѣковъ «терзала собственныя нѣдра, пила слезы и кровь собственныя». «Удивительно ли,—спрашиваетъ Карамзинъ,—что при такихъ обстоятельствахъ варвары покорили наше отечество?» Положеніе дошло до того, что, казалось, Россія погибла навѣки. Но—«*сдѣлалось чудо*. Городокъ, едва извѣстный до XIV-го вѣка, отъ презрѣнія къ его маловажности, возвысилъ главу и спасъ отечество—да будетъ честь и слава Москвѣ! Въ ея стѣнахъ родилась и созрѣла мысль возстановить единовластіе въ истерзанной Россіи, и хитрый Іоаннъ Калита есть родоначальникъ ея славнаго воскресенія, безпримѣрнаго въ лѣтописяхъ міра».

Начался процессъ собиранія земель. Но «глубокомысленная политика князей московскихъ не удовольствовалась собираніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единовластіе усилить самодержавіемъ, т. е. искоренить всѣ слѣды прежняго «вольнаго духа». Московскіе князья съ успѣхомъ выполнили и эту задачу. Что-же представляла изъ себя Россія, завѣщанная московскими князьями своимъ преемникамъ?

«Самодержавіе укоренилось; никто, кромѣ государя, не могъ ни судить, ни жаловать—всякая власть была изліяніемъ монаршимъ. Жизнь, имѣніе зависѣли отъ произвола царей, и знаменитѣйшее въ Россіи титло было уже не княжеское, не боярское, но титло *слуги царева*. Народъ, избавленный князьями московскими отъ бѣдствій внутренняго междуусобія и внѣшняго ига, не жалѣлъ о своихъ

древнихъ вѣчахъ и сановникахъ, которые умѣряли власть государеву; довольный дѣйствіемъ не спорилъ о правахъ; одни бояре, столь нѣкогда величавые въ удѣльныхъ господствахъ, роптали на строгость самодержавія; но бѣгство или казнь ихъ свидѣтельствовала бодрость онаго. Наконецъ царь сдѣлался для всѣхъ Россіянъ земнымъ Богомъ».

Преступленіе Бориса задержало торжественное развитіе самодержавства и повело къ ужасамъ смутнаго времени. Эти ужасы были тѣмъ «ужаснѣе», что «самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей или заблужденій государя».

Для вторичнаго спасенія отечества нужно было новое чудо, и оно явилось сначала въ образѣ Минина и Пожарскаго, потомъ—Михаила Ѳеодоровича. Самодержавіе, уничтоживъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, принялось за устройство государства. Для него, значительно уже выросшаго, потребовались новыя формы и бо́льшая часть ихъ была заимствована у Европы: «Вообще—говоритъ Карамзинъ—царствованіе Романовыхъ—Михаила, Алексѣя, Ѳедора—способствовало сближенію Россіянъ съ Европою, какъ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, такъ и въ правахъ, отъ частыхъ государственныхъ сношеній съ ея дворами, отъ принятія въ нашу службу многихъ иноземцевъ и поселенія другихъ въ Москвѣ. Еще предки наши усердно слѣдовали своимъ обычаямъ; но примѣръ начиналъ дѣйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ старымъ навыкомъ въ воинскихъ уставахъ, въ системѣ дипломатической, въ образѣ воспитанія или ученія, въ самомъ свѣтскомъ обхожденіи. *Сіе измѣненіе дѣлалось тихо, постепенно, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе безъ порывовъ и насилія: мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣняя все къ нашему и новое соединяя со старымъ*».

Въ послѣднихъ строкахъ уже скрывается осужденіе царствованій Петра I и Екатерины II-й. На самомъ дѣлѣ къ дѣятельности Петра Карамзинъ относится довольно скептически: очевидно, что къ этому времени онъ успѣлъ совершенно отдѣлаться отъ юношескаго энтузіазма, который возбуждала въ немъ когда-то могучая личность Преобразователя.

«Страсть къ новымъ для насъ обычаямъ—говоритъ онъ—переступила въ немъ границу благоразумія: Петръ не хотѣлъ вникнуть въ истину, что духъ народный составляетъ нравственное могущество государства, которое подобно физическому нужно для ихъ твердости. Государь Россіи унижалъ Россіянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ. Презрѣніе къ самому себѣ располагаетъ ли человѣка и граж-

данина къ великимъ дѣламъ? Предписывать уставы обычаямъ есть насиліе беззаконное и для самодержавнаго Монарха... Честью и достоинствомъ Россіянъ сдѣлалось *подражаніе*»...

Всѣ эти изреченія являются несомнѣнно во вкусѣ будущихъ славянофиловъ.

Второе вредное дѣйствіе Петра—продолжаетъ Карамзинъ—заключалось «*въ отдѣленіи высшаго сословія* отъ низшаго». Но чѣмъ? Оказывается, не крѣпостнымъ правомъ, впервые оформленнымъ при Петрѣ, а *одеждою* и *наружностью*. «Русскіе земледѣльцы,—пишетъ исторіографъ,—мѣщане, купцы увидѣли нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго единодушія (котораго, кстати сказать, никогда не было) государственныхъ состояній».

Третье—«ослабленіе связей родственныхъ, пріобрѣтеніе добродѣтелей человѣческихъ насчетъ гражданскихъ. Имѣетъ ли для насъ имя Русскаго ту силу неисповѣдимую, какую оно имѣло прежде?»

Наконецъ блестящею ошибкою Петра Карамзинъ называетъ основаніе столицы въ Петербургѣ.

Не пощадилъ исторіографъ и Екатерины II-й.

«Блестящее царствованіе Екатерины—пишетъ онъ—представляетъ взору наблюдателя и нѣкоторыя пятна. Нравы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ: тамъ отъ примѣровъ двора любострастнаго,—здѣсь отъ выгоднаго для казны умноженія питейныхъ домовъ. Примѣръ Анны и Елизаветы извиняетъ ли Екатерину? Богатства государственныя принадлежатъ ли тому, кто имѣетъ единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная—порокъ, ибо соблазняетъ другихъ. Самое достоинство Государя терпитъ, когда онъ нарушаетъ уставъ благонравія; какъ люди ни развратны, но внутренно не могутъ уважать развратныхъ. Требуется ли доказательствъ, что искреннее почтеніе къ добродѣтелямъ Монарха утверждаетъ власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходныя качества души, невольно вспоминаемъ ея слабости и краснѣемъ за человѣчество».

«Замѣтимъ еще, что правосудіе не цвѣло въ сіе время; вельможа, чувствуя несправедливость свою въ тяжбѣ съ дворяниномъ, переносилъ дѣло въ кабинетъ; тамъ засыпало оно и не пробуждалось».

«Въ самыхъ государственныхъ учрежденіяхъ Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянію вещей, но красивѣйшее по формамъ. Таково было новое учрежденіе губерніи, изящное на бумагѣ, но худо примѣненное къ обстоятельствамъ Россіи. Солонъ говорилъ: «мои законы не совер-

шенные, но лучшіе для Аѳинянъ».—Екатерина хотѣла умозрительнаго совершенства въ законахъ, не думая о легчайшемъ, полезнѣйшемъ дѣйствіи оныхъ; дала намъ суды, не образовавъ судей, дала правила безъ средствъ исполненія. Многія вредныя слѣдствія Петровой системы также яснѣе открылись при сей Государынѣ: чужеземцы овладѣли у насъ воспитаніемъ; дворъ забылъ языкъ Русскій; отъ излишнихъ успѣховъ Европейской роскоши дворянство задолжало; дѣла безчестныя, внушаемыя корыстолюбіемъ, для удовлетворенія прихотямъ, стали обыкновеннѣе; сыновья бояръ нашихъ разсыпались по чужимъ землямъ тратить деньги и время для пріобрѣтенія Французской или Англійской наружности. У насъ были академіи, высшія училища, народныя школы, умные министры, пріятные свѣтскіе люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флотъ и Великая Монархиня; не было хорошаго воспитанія, твердыхъ правилъ и нравственности въ гражданской жизни. Любимецъ вельможи, рожденный бѣднымъ, не стыдился жить пышно. Вельможа не стыдился быть развратнымъ. Торговали правдою и чинами. Екатерина—великій мужъ въ главныхъ собраніяхъ государственныхъ—являлась женщиною въ подробностяхъ Монаршей дѣятельности, дремала на розахъ, была обманываема или себя обманывала; не видѣла или не хотѣла видѣть многихъ злоупотребленій, считая ихъ, можетъ быть, неизбѣжными и довольствуясь общимъ успѣшнымъ, славнымъ теченіемъ ея царствованія».

Послѣ этой по истинѣ смѣлой характеристики Карамзинъ обращается къ царствованію Александра I-го и, по обычаю всѣхъ охранителей, начинаетъ прежде всего пугать.

Россія, говоритъ онъ, наполнена недовольными; жалуются въ палатахъ и хижинахъ, не имѣютъ ни довѣренности, ни усердія къ правленію, строго осуждаютъ его цѣли и мѣры. Такое состояніе умовъ Карамзинъ объясняетъ между прочимъ и важными ошибками правительства, ибо, къ сожалѣнью, можно съ добрымъ намѣреніемъ ошибаться въ средствахъ добра. Важныя-же ошибки слѣдующія:

«... Главная ошибка законодателей сего царствованія состоитъ въ излишнемъ *уваженіи формъ государственной* дѣятельности: отъ того изобрѣтеніе разныхъ Министерствъ, учрежденіе Совѣта и проч.» Карамзинъ не хочетъ ни знать, ни понять, что если реформы Сперанскаго остались чисто бумажными, недодѣланными, то виноватъ въ этомъ совсѣмъ не реформаторскій принципъ, а двойственность политики Александра I-го, который горячо желалъ всего лучшаго и боялся сдѣлать рѣшительный шагъ. Въ то время какъ Карамзинъ писалъ свою «Записку», участь Сперанскаго, а значитъ и

всѣхъ преобразованій была уже рѣшена. Мрачная фигура Аракчеева все чаще стала показываться во дворцѣ Александра I-го. Государя пугали со всѣхъ сторонъ, пугалъ и Карамзинъ.

Онъ зло смѣется надъ министерствами, совѣтами, вообще формами государственной жизни, установленіемъ которыхъ Сперанскій думалъ уничтожить возможность всякаго произвола, но что самъ можетъ онъ предложить взамѣнъ? Сначала—нравоученіе, потомъ и нѣчто болѣе серьезное.

Нравоученіе таково: «спасительными уставами бываютъ единственно тѣ, коихъ давно желаютъ лучшіе умы въ государствѣ и которые, такъ сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближайшимъ цѣлебнымъ средствомъ на извѣстное зло: учрежденіе министерствъ и совѣта имѣло для всѣхъ дѣйствіе внезапности».

Болѣе серьезное соображеніе изложено въ слѣдующихъ строкахъ: «Но да будетъ — восклицаетъ Карамзинъ—правило: *искать людей*! Кто имѣетъ довѣренность Государя, да замѣчаетъ ихъ вдали для самыхъ первыхъ мѣстъ. Не только въ республикахъ, но и въ монархіяхъ кандидаты должны быть назначены единственно по способностямъ. Всемогущая рука Единовластителя одного ведетъ, другого мечетъ на высоту; медленная постепенность есть законъ для множества, а не для всѣхъ. Кто имѣетъ умъ Министра, не долженъ посѣдѣть въ столоначальникахъ или въ секретаряхъ. Чины унижаются не скорымъ ихъ пріобрѣтеніемъ, но глупостію или безчестіемъ сановниковъ; возбуждается зависть, но скоро умолкаетъ предъ лицомъ достойнаго. Вы не образуете полезнаго Министерства сочиненіемъ наказа; тогда образуете, когда приготовите хорошихъ Министровъ. Совѣтъ разсматриваетъ ихъ предложенія; но увѣрены ли вы въ мудрости его членовъ? Общая мудрость рождается только отъ частной. Однимъ словомъ, теперь всего нужнѣе люди! Но люди не только для Министерства или Сената, но и въ особенности для мѣстъ губернаторскихъ. Россія состоитъ не изъ Петербурга и не изъ Москвы, а изъ 50 или болѣе частей, называемыхъ губерній: если тамъ пойдутъ дѣла какъ должно, то Министры и Совѣтъ могутъ отдыхать на лаврахъ, а *дѣла пойдутъ какъ должно, если вы найдете въ Россіи 50 мужей умныхъ, добросовѣстныхъ, которые ревностно станутъ блюсти ввѣренное каждому изъ нихъ благо полумилліона Россіянъ*, обуздаютъ хищное корыстолюбіе нижнихъ чиновниковъ и господъ жестокихъ, возстановятъ правосудіе, успокоятъ земледѣльцевъ, ободрятъ купечество и промышленность, сохранятъ пользу казны и народа. Если губернаторы не умѣютъ, или не хотятъ дѣ-

лать того, виною худое избраніе лицъ; если не имѣютъ способа — виною худое образованіе губернскихъ властей».

Дѣла пойдутъ какъ должно, если вы найдете въ Россіи 50 мужей умныхъ и добросовѣстныхъ, и эти то 50 людей, ихъ дѣятельность представлялась Карамзину панацеей всѣхъ золъ. Они должны были искоренить вѣковое хищничество, неправду въ судахъ, жестокіе, кровожадные нравы въ помѣстьяхъ. Дайте 50 человѣкъ, и довольство воцарится въ палатахъ и хижинахъ, промышленность и торговля расцвѣтутъ, казна окажется богатой и неприкосновенной.

Однако всякій, кто подумаетъ, что Карамзинъ былъ особенно встревоженъ учрежденіемъ министерствъ и совѣта, тотъ сильно ошибется. Суть не въ этомъ, а въ другомъ, болѣе существенномъ, и это другое, болѣе существенное—желаніе сохранить во всей незыблемости и неприкосновенности крѣпостное право.

«Такъ нынѣшнее правительство—пишетъ Карамзинъ—имѣло, какъ увѣряютъ, намѣреніе дать свободу господскимъ людямъ». Возможно ли это? По мнѣнію исторіографа, «освобожденіе крестьянъ съ землею было бы прямо *беззаконіемъ*, такъ какъ: 1) нынѣшніе господскіе крестьяне *никогда* не были владѣльцами, т. е. не имѣли собственной земли, которая есть законная неотъемлемая собственность дворянъ; 2) крестьяне холопскаго происхожденія—также законная собственность дворянская и не могутъ быть освобождены лично безъ особеннаго удовлетворенія помѣщика». Карамзинъ думаетъ далѣе, что одни вольные, Годуновымъ укрѣпленные за господами, земледѣльцы могутъ, по справедливости, требовать прежней свободы, которой однако имъ давать не слѣдуетъ, ибо «мы не знаемъ нынѣ, которые изъ нихъ происходятъ отъ холопей и которые отъ вольныхъ людей».

Словомъ, куда ни кинь, все клинъ. Возможность разрубить Гордіевъ узелъ крѣпостного права представляется Карамзину не только невѣроятной, но прямо ненужной. Онъ не спрашиваетъ себя, на какихъ условіяхъ дореформенное дворянство владѣло государственными землями, особенно въ XVII и 1-й половинѣ XVIII в., когда оно являлось въ сущности не собственникомъ, а пользователемъ; не спрашиваетъ себя и о томъ, какъ это возможно, чтобы *всѣ* крестьяне *никогда* не являлись собственниками? Высказавъ свои историческіе аргументы и ничѣмъ не доказавъ ихъ, Карамзинъ переходитъ къ аргументамъ нравственно политическимъ, и что то близкое, знакомое слышится въ его словахъ. «Уже не завися отъ суда помѣщиковъ, *рѣшительнаго*, безденежнаго, крестьяне начнутъ ссориться между собою и судиться въ городѣ—какое разореніе! Освобожден-

ные отъ надзора господъ, имѣвшихъ собственную земскую исправу или полицію, гораздо дѣятельнѣйшую всѣхъ земскихъ судовъ, станутъ ньянствовать, злодѣйствовать,—какая богатая жатва для кабаковъ и мздоимныхъ исправниковъ, но какъ худо для нравовъ и государственной безопасности».

Припоминая изреченіе Павла I-го: «у меня сто тысячъ даровыхъ полицимейстеровъ» (помѣщиковъ), Карамзинъ продолжаетъ: «теперь дворяне, разсѣянные по всему государству, содѣйствуютъ монарху въ храненіи тишины и благоустройства: отними у нихъ сію власть блюстительную, онъ, какъ Атласъ, возьметъ себѣ Россію на рамена. Удержитъ ли?.. *Паденіе страшно*».

Исторіографъ грозитъ даже этимъ, забывая свои собственныя блестящія страницы о кротости и смиренномудріи славянъ.

«Записка», разумѣется, заканчивается панегирикомъ дворянству и въ этомъ отношеніи является характернымъ памятникомъ александровской эпохи, когда самыя закорузлыя старообрядческія мнѣнія переплетались съ любезными меланхолическими порывами сердца и вожделѣніями европействующихъ реформаторовъ, когда предшественники декабристовъ—Сперанскій и Аракчеевъ—поочереди раздѣляли симпатіи государя.

«Самодержавіе — пишетъ Карамзинъ—есть палладіумъ Россіи: цѣлость его необходима для ея счастія; изъ сего не слѣдуетъ, чтобы государь—единственный источникъ власти— имѣлъ причины унижать дворянство, столь-же древнее, какъ и Россія. Оно было всегда не что иное, какъ братство знаменитыхъ слугъ великокняжескихъ или царскихъ».

* * *

Говорятъ, императоръ остался недоволенъ «Запиской» и ея реакціоннымъ направленіемъ. Въ то время въ душѣ Александра совершался переворотъ, и онъ мучился, находясь на распутьи между дорогой Сперанскаго и Аракчеева. Онъ успѣлъ уже разочароваться во многихъ изъ гуманныхъ и свободолюбивыхъ грезъ своей юности, но ему не хотѣлось сразу переходить на другой тонъ.

«Записка» Карамзина задѣла живую рану.

* * *

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о послѣднихъ годахъ жизни прославленнаго исторіографа.

Послѣ выхода въ свѣтъ первыхъ томовъ «Исторіи» онъ жилъ главнымъ образомъ въ Петербургѣ, а лѣтомъ—въ Царскомъ Селѣ. Его

отношенія ко двору становились все ближе, но онъ не порывалъ и своихъ литературныхъ связей; возлѣ него между прочимъ постоянно находились Пушкинъ и Жуковскій. Впечатлѣнія его съ этихъ поръ становятся очень однообразными, а въ письмахъ своихъ онъ почти исключительно сообщаетъ о тѣхъ или другихъ знакахъ милостиваго вниманія.

Напримѣръ онъ писалъ къ *Дмитріеву*: «Государь призывалъ меня къ себѣ и говорилъ со мною весьма милостиво о вещахъ обыкновенныхъ. Увидѣвъ меня на балѣ въ Павловскѣ въ Розовомъ павильонѣ, тотчасъ подошелъ спросить о здоровьѣ жены и на другой день прислалъ лакея своего спросить о томъ же. Это милостиво и тронуло меня. Императрица также привѣтлива. Однакожъ все еще не знаю, останусь ли печатать здѣсь «Исторію». Типографщики дорожатся, или не имѣютъ нужнаго для такого печатанія шрифта. Будетъ, чему быть надобно; а пора мнѣ гдѣ-нибудь основаться до конца и работать постоянно, безъ всякихъ развлеченій». И т. д., все въ томъ же родѣ.

Въ 1819 г. онъ принялся за IX-ый томъ «Исторіи». Опять пошли хлопоты о разыскиваніи матеріала,—о томъ, какъ доставать нужныя книги. Любимая работа вступила въ свои права и вновь подчинила себѣ жизнь и помыслы человѣка. Несомнѣнно, что за письменнымъ столомъ Карамзинъ провелъ много счастливыхъ часовъ. Близость ко двору скорѣе льстила его тщеславію, чѣмъ приносила нравственное удовольствіе. Онъ чувствовалъ себя не совсѣмъ уютно въ парадныхъ комнатахъ. Ему недоставало остроумія, находчивости, онъ всегда держалъ себя слишкомъ серьезно. Къ тому же по его впечатлительности каждый знакъ невниманія или временной холодности раздражалъ и мучилъ его. Въ такія минуты онъ писалъ напримѣръ Дмитріеву:

«Знай, любезнѣйшій, что я ничего не хочу, уже приближаясь къ старости. Полно! Благодарю Бога за то, что̀ имѣю. Надобно доживать дни съ семействомъ, съ другомъ и съ книгами. Мнѣ гадки лакеи и низкіе честолюбцы, и низкіе корыстолюбцы. Дворъ не возвыситъ меня. Люблю только любить Государя. Къ нему не лѣзу и не ползу. Не требую ни конституціи, ни представителей, но по чувствамъ останусь республиканцемъ, и притомъ вѣрнымъ подданнымъ Царя Русскаго: вотъ противорѣчіе, но только мнимое».

Карамзинъ жилъ довольно открыто. По вечерамъ въ его роскошной квартирѣ собиралось обыкновенно немало народа. Жена и дочь постоянно присутствовали тутъ же. Впослѣдствіи вдова исто-

ріографа имѣла литературно-аристократическій салонъ—что́ рѣдко встрѣчается въ Россіи.

Въ 1819 году Государь по возвращеніи своемъ изъ заграницы заявилъ Карамзину въ интимной бесѣдѣ свое желаніе возстановить Польшу въ ея древнихъ предѣлахъ. Карамзинъ, по словамъ Погодина, воспламенился духомъ и составилъ «Записку», гдѣ между прочимъ читаемъ:

«Можете ли съ мирною совѣстію отнять у насъ Бѣлоруссію, Литву, Волынію, Подолію, утвержденную собственность Россіи еще до Вашего царствованія? Не клянутся ли Государи блюсти цѣлость своихъ державъ? Сіи земли уже были *Россіею*, когда Митрополитъ Платонъ вручалъ Вамъ вѣнецъ Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами назвали *Великою*. Скажутъ ли, что она беззаконно раздѣлила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнѣе, еслибы вздумали загладить Ея несправедливость раздѣломъ самой Россіи. Мы взяли Польшу мечемъ: вотъ наше право, коему всѣ Государства обязаны бытіемъ своимъ: ибо всѣ составлены изъ завоеваній.»

Катковъ впослѣдствіи прибѣгалъ къ тѣмъ же аргументамъ.

До 1825 г. были написаны еще X и XI т. «Исторіи» въ той-же обстановкѣ и при тѣхъ-же условіяхъ. Упадка силъ онъ не чувствовалъ. Напротивъ, послѣднія его письма дышатъ бодростью.

«Любезный другъ,—пишетъ онъ напримѣръ Дмитріеву въ сентябрѣ 1825 г.—Въ отвѣтъ на милое письмо твое скажу, что о вкусахъ, по старому латинскому выраженію, не спорятъ. Я точно наслаждаюсь тихою, уединенною жизнью, когда здоровъ и не имѣю душевной тревоги. Всѣ часы дня заняты пріятнымъ образомъ: въ девять утра гуляю по сухимъ и въ ненастье дорогамъ вокругъ прекраснаго, нетуманнаго озера, славимаго и въ «Conversations d'Emilie» (сочиненіе Жанлисъ); въ одиннадцатомъ завтракаю съ семействомъ и работаю съ удовольствіемъ до двухъ, еще находя въ себѣ душу и воображеніе (Карамзинъ сохранилъ ихъ до послѣдней минуты); въ два часа на конѣ, несмотря ни на дождь, ни на снѣгъ, трясусь, качаюсь—и веселъ; возвращаюсь, съ аппетитомъ обѣдаю съ моими любезными, дремлю въ креслахъ и въ темнотѣ вечерней еще хожу часъ по саду, смотрю вдали на огни домовъ, слушаю колокольчикъ скачущихъ по большой дорогѣ и нерѣдко крикъ совы; возвратясь свѣжимъ, читаю газеты, журналы... книгу; въ девять часовъ пьемъ чай за круглымъ столомъ и съ девяти до половины двѣнадцатаго читаемъ съ женою, съ двумя дѣвицами (дочерьми) замѣчательныя мѣста изъ Вальтеръ-Скоттова романа, но съ невин-

ною пищею для воображенія и сердца, всегда жалѣя, что вечера коротки...

«Работа сдѣлалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность къ небу за свое историческое дѣло! Знаю, что̀ и какъ пишу; въ своемъ такомъ восторгѣ не думаю ни о современникахъ, ни о потомствѣ; я независимъ и наслаждаюсь только своимъ трудомъ, любовью къ отечеству и человѣчеству. Ну, пусть никто не читаетъ моей «Исторіи»: она есть, и довольно для меня... За неимѣніемъ читателей, могу читать себѣ и бормотать сердцу, *гдѣ* и *что* хорошо. Мнѣ остается просить Бога единственно о здоровьѣ милыхъ и насущномъ хлѣбѣ, до той минуты, «какъ лебедь на водахъ Меандра, пропѣвъ, умолкнетъ навсегда...»

Но дни Карамзина были уже сочтены: онъ умеръ 22-го мая 1826 г., собираясь ѣхать за-границу для поправленія здоровья. Передъ смертью онъ получилъ отъ императора Николая Павловича именной рескриптъ и 50 тысячъ рублей пенсіи въ годъ, чѣмъ и заключалась его успѣшная исторіографическая карьера.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Мы видѣли, что̀ сдѣлалъ Карамзинъ. Онъ преобразовалъ русскій языкъ, выкинувъ изъ него массу церковныхъ, славянскихъ выраженій и приблизивъ стиль къ французскому,—онъ издавалъ три журнала, одинаково умныхъ, интересныхъ и разнообразныхъ, чѣмъ несомнѣнно пріохотилъ публику къ чтенію,—наконецъ онъ написалъ двѣнадцать томовъ Русской Исторіи, незабытыхъ еще и въ настоящее время. Всего этого совершенно достаточно, чтобы имя Карамзина не исчезло изъ лѣтописей русской журналистики, литературы, исторіи; но этого мало, чтобы мы чувствовали его близкимъ къ намъ, чтобы мы продолжали учиться у него, какъ могли это дѣлать наши прадѣды и прабабушки. Если порою мы и должны еще обращаться къ «Исторіи Государства Россійскаго», то повинно въ этомъ обстоятельствѣ не величіе Карамзина, а въ высшей степени медлительный ходъ русской исторіи, имѣющій впрочемъ очень мало общаго съ научной осторожностью. Возьмите рѣдкій примѣръ въ этомъ отношеніи—именно вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Казалось бы, интересъ изслѣдователей долженъ былъ съ особенной силой притягиваться къ нему, а между тѣмъ долгое время онъ почти не обращалъ на себя вниманія. Мы сравнительно недавно разстались съ старой сказкой, будто крѣпостное право введено Годуновымъ, и

наши дѣти подъ 1594 г. все еще учатъ наизусть—«вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день». А между тѣмъ крѣпостное право подъ формой кабалы существовало съ древнѣйшихъ временъ, общее-же свое распространеніе получило лишь при Петрѣ Великомъ, когда помѣщикъ сталъ отвѣчать за крестьянскіе оброки и въ вознагражденіе за это получилъ массу правъ.

Не только въ «Исторіи Государства Россійскаго», но и во всемъ, что вышло изъ подъ пера Карамзина, нельзя видѣть и тѣни величія. Передъ нами всегда и вездѣ богато-одаренная, нервная и даровитая, но не глубокая натура, блестящая и красивая, но безъ тѣни геніальности. Въ жизни Карамзинъ былъ тѣмъ, что называется нормальнымъ человѣкомъ. Въ юности онъ увлекался масонами и свободными «швейцарами»; сталъ остороженъ въ зрѣлые годы, выказывалъ сильную наклонность давать задній ходъ подъ старость. Съ годами его взгляды становились все болѣе консервативными, охранительными и лишь въ минуты меланхоліи могъ онъ называть себя республиканцемъ. Знаменитая впослѣдствіи славянофильская тріада «самодержавіе, православіе и народность»—была въ сущности формулирована уже имъ, съ прибавкой крѣпостничества и 50 сатраповъ, въ качествѣ образцовъ добродѣтели для 25-ти милліоновъ людей. Переживъ волненія юности, Карамзинъ сдѣлался государственникомъ чистой воды. Идея справедливости не особенно уже тревожила его: вѣрность преданіямъ прошлаго, медленное и осторожное движеніе впередъ, внѣшняя сила и могущество Россіи—вотъ что особенно занимало его и защитѣ чего служилъ онъ своимъ краснорѣчіемъ. «Мнѣ кажется,—говоритъ онъ напримѣръ,—что *для твердости* бытія государственнаго безопаснѣе *поработить* людей, нежели дать имъ не во время свободу, къ которой надобно готовить человѣка исправленіемъ нравственнымъ». Передъ соображеніемъ о твердости государственной должно умолкнуть все, даже лучшіе порывы сердца, и всѣ усилія сосредоточиться на храненіи «государственной тишины и благоустройства». Какъ у государственника, мы найдемъ у Карамзина и дѣленіе народа на классы—желаніе сдѣлать изъ этихъ классовъ въ значительной степени касты. Почти повторяя слова Ришельё и забывая, что въ нашей исторіи былъ уже Петръ Великій, «разнесшій всѣ сословныя перегородки», онъ говоритъ: «Дворянство есть наслѣдственное... Народъ работаетъ, купцы торгуютъ, дворяне служатъ, награждаемые отличіемъ и выгодами, уваженіемъ и достаткомъ. Надлежало бы *не дворянству быть по чинамъ, а чинамъ по дворянству*, т. е. для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ чиновъ надлежало-бы необходимо требовать благородства». Въ той упорной борьбѣ,

которую постоянно вело столбовое дворянство съ личнымъ, начало наслѣдственности съ началомъ личности, духъ Петра Великаго съ духомъ Семибоярщины и верховниковъ Анны Іоанновны, Карамзинъ принялъ сторону того, что уже было приговорено исторіей за сто лѣтъ до его времени. Умные люди, не зная его «записки», которая, кстати сказать, долгое время считалась запретнымъ плодомъ, поняли однако, что скрывается за трескучими періодами его «Исторіи».

Надо однако замѣтить, что не холопство, не трусость привели Карамзина на путь государственника. Онъ несомнѣнно былъ искреннимъ человѣкомъ; ни одной измѣны, предательства, забѣганія не лежитъ у него на душѣ. Всегда, напротивъ того, держалъ онъ себя гордо, независимо и самостоятельно. Но нравственная закваска его была слаба, онъ не зналъ особеннаго уваженія къ человѣческому достоинству, но только стремился къ справедливости. Его легкій, блестящій умъ легко рѣшалъ самые трудные вопросы и бралъ поэтому ближайшее рѣшеніе. А на это ближайшее рѣшеніе всегда наталкиваетъ простая формула: «мнѣ хорошо, слѣдовательно хорошо и вообще».

Государственникъ, а во многихъ случаяхъ даже реакціонеръ, Карамзинъ однако былъ далекъ отъ мракобѣсія. Надо отдать ему справедливость: онъ высказалъ Александру I-му много горькихъ истинъ. Говоря, что къ свободѣ надо приготовить человѣка просвѣщеніемъ, онъ спрашивалъ: «а система нашихъ винныхъ откуповъ и страшные успѣхи пьянства—служатъ ли къ тому спасительнымъ приготовленіемъ?» Это зло и мѣтко. Онъ также рекомендовалъ «обуздывать господъ жестокихъ», хотя и совѣтовалъ дѣлать это безъ шума, «подъ рукой». Онъ возставалъ противъ все возраставшей арміи чиновничества, говоря: «здѣсь три генерала берегутъ туфли Петра Великаго; тамъ одинъ человѣкъ беретъ изъ 5-ти мѣстъ жалованье; всякому столовыя деньги, множество пенсій излишнихъ, даютъ взаймы безъ отдачи. А кому? Богатѣйшимъ людямъ!..» И т. д. Не справедливость, а *честность*—вотъ знамя, которому онъ не измѣнялъ никогда... Хорошо и это.

Нормальный характеръ съ должной дозой увлеченія и благоразумія далъ ему возможность совершенно счастливо провести свою долгую жизнь, наслаждаясь любимымъ трудомъ, семьей, дружбой, почестями—всѣмъ въ мѣру и въ свое время. Замѣчательно, что за 60 лѣтъ онъ не сдѣлалъ ни одного неосторожнаго шага, и нужны были лишь русскія традиціи, чтобы на него писали доносы. Къ счастію для себя, ко двору онъ попалъ поздно, почему придворная жизнь не могла особенно волновать, а ея неудачи—мучить его.

Въ его дарованіи не было полныхъ данныхъ для ученаго — въ настоящее время напримѣръ, при повышенныхъ требованіяхъ, никогда бы такой репутаціи онъ не пріобрѣлъ,—но всѣмъ, что нужно для журналистовъ, онъ обладалъ въ изобиліи. Легкій, красивый языкъ, словоохотливость, щедрая, всегда находившаяся въ полномъ его распоряженіи фантазія позволяли ему писать много и всегда сносно. Было у него и достаточно самоувѣренности. Онъ брался за самые разнообразные сюжеты, перепробовалъ всѣ роды творчества, ни разу не создалъ ничего вѣчнаго и ни разу изъ рукъ вонъ плохого. Онъ началъ съ переводовъ, долго писалъ стихи, чтеніе Мармонтеля натолкнуло его на созданіе повѣстей. За «Исторію» онъ принялся безъ всякой спеціальной подготовки и лишь съ обильнымъ запасомъ красивыхъ афоризмовъ.

Въ нашихъ обстоятельствахъ такіе люди нужны, и лучшимъ доказательствомъ той пользы, которую они приносятъ, служитъ то, что имя Карамзина не умерло и по днесь.

Для дѣтей и юношества.

Иллюстрированныя сказки Андерсена. Полное собраніе въ 6 томахъ. Съ 530 картинками. Перев. *В. Поровской.* Ц. каждаго тома 60 к., въ пап. 75 к., въ перепл. по 3 тома 2 р. 50 к.

Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ. *А. Брянчанинова.* Съ пред. Тургенева. 62 рис. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р.

Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ) *Ф. Павленкова.* 10 листовъ. Ц. 1 р. „Объясненіе" къ нимъ 5 к.

Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. *Бостронъ.* Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ переплетѣ 1 р. 30 к.

Два проказника. Шуточный разсказъ *Буша.* Съ нѣмецк. 100 рис. 2-е изд. Ц. въ папкѣ 50 к.

Дѣтскій маскарадъ. *Лебедева.* Съ 16 р. Ц. 20 к.

Послушаемъ! Дѣтскіе разсказы. *Поледа.* Съ 28 рис. Ц. въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.

Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. *Гейбнера.* Переводъ съ нѣмецкаго. Съ 107 рис. Цѣна 30 к., въ папкѣ 40 к., въ перепл. 60 к.

Донъ-Кихотъ. *Сервантеса.* Сокращ. перев. съ 48 рис. Ц. 50 к., въ пап. 60 к., въ перепл. 90 к.

Иллюстрированные романы Диккенса въ сокращенномъ переводѣ *Л. Шелгуновой.* 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Оливеръ Твистъ, 4) Большія надежды, 5) Нашъ общій другъ, 6) Лавка древностей, 7) Крошка Доррить, 8) Тяжелыя времена, 9) Холодный домъ, 10) Николай Никльби, 11) Два города, 12) Мартинъ Чезльвитъ. Цѣна каждаго романа 40 к. Въ папкѣ 50 к., въ переплетѣ по 6 ром.—3 р. 25 к.

Въ добрый часъ! Сборникъ дѣтскихъ разсказовъ. *А. Лякидо.* Съ рисунками. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ переплетѣ 1 р. 25 к.

Задушевные разсказы. *П. Засодимскаго.* Два тома съ 135 рис. 2-е изд. Цѣна каждаго 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплетѣ—2 р.

Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. *Засодимскаго.* Цѣна каждой книжки по 35 к

Янки Вологодскаго уѣзда *Круглова.* Съ 6 рисунками. Ц. 25 к.

Вечерніе досуги. *Круглова* Съ 70 рис. Ц. 1 р 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ перепл 2 р.

Незабудки. *А. Круглова.* Разсказы. Съ 50-ю рис. Ц. 1 р. 50 к., въ пап. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.

Изъ жизни и исторіи. *А. Арсеньева.* Съ рис. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплетѣ 2 р.

Блуждающіе огоньки. *Бажиной.* Со мног. рис. Ц. 1 р. Въ пап. 1 р. 25 к. Въ пер. 1 р. 60 к.

Живыя картинки. *Смирнова.* Съ 50 рис. Ц. 1 р 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р.

Черные богатыри. *Е. Конради.* Со множествомъ рис. Цѣна 2 р., въ перепл. 2 р. 75 к.

Мученики науки. *Г. Тисандье.* Переводъ подъ редакціей *Ф. Павленкова.* Съ 55 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ переплетѣ 2 р.

Хорошіе люди. *В. Острогорскаго.* Съ 45 рисунками. 2-е изданіе. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ 1 р. 60 к.

Двадцать біографій образцовыхъ русск. писателей. Сост. *В. Острогорскій.* Съ 20 портретами. Ц. 50 к., Въ папкѣ 75 к., въ перепл. 1 р.

Всякому гвоздю свое мѣсто. *Круглова.* Съ 46 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ пап. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

Исторія открытія Америки. *Ламе-Флери.* 3 изд. 52 рис. Ц. 75 к., въ пап. 1 р., въ пер. 1 р. 30 к.

Иллюстрированные романы Вальтеръ-Скотта въ сокращенномъ переводѣ *Л. Шелгуновой.* 1) Веверлей, 2) Антикварій, 3) Робъ-Рой, 4) Айвенго, 5) Астрологъ, 6) Квентинъ Дорвардъ, 7) Вудстокъ, 8) Замокъ Кенильвортъ, 9) Ламермурская невѣста, 10) Легенда о Монтрозѣ, 11) Пверилъ Пикъ, 12) Пресвитеріане, 13) Пертская красавица, 14) Аббатъ, 15) Монастырь, 16) Пиратъ, 17) Карлъ Смѣлый, 18) Ричардъ-Львиное Сердце, 19) Обрученные, 20) Черный карликъ. Ц. каждаго романа 40 к., въ папкѣ 50 к., въ переплетѣ по 5 романовъ вмѣстѣ 2 р. 80 к.

Образовательное путешествіе. *С. Борисофера.* Съ 78 рис. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Чрезъ дебри и пустыни. *С. Борисофера.* Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. *С. Борисофера.* Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Приключенія контрабандиста. *С. Борисофера.* Съ иллюстраціями. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р. 25 к.

На землѣ и подъ землей. Изъ воспоминаній всемірнаго путешественника. *В. Галунтьева.* Со мног. рис. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.

Несчастливцы. Повѣсть для дѣтей изъ жизни насѣкомыхъ. *Э. Кандева.* Съ 65 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Приключенія сверчка. *Кандева.* Съ 67 рис. Ц. 2 р., въ пап. 2 р. 25 к., въ пер. 2 р. 50 к.

Научныя развлеченія. *Г. Тисандье.* Переводъ подъ редакціей *Ф. Павленкова.* Съ 353 рис., 3-е изд. Ц. 1 р. 50 к., въ переплетѣ 2 р. 25 к.

Математич. софизмы. *Обреимова.* 50 теоремъ, доказывающихъ, что $2 \times 2 = 5$ и т. Ц. 40 к.

Математическія развлеченія. *Люкаса.* Переводъ съ франц. Съ 55 фигурами и таблицами. Ц. 1 р., въ переплетѣ 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. *Обреимова.* Сборникъ геометрич. игръ. Съ 300 рис. Ц. 1 р.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

1) Демонъ. Съ 9 рис. Ц. 6 к.—2) Ангелъ Смерти. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—3) Измаилъ-Бей. Съ 9 рис. Ц. 10 к.—4) Хаджи-Абрекъ. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—5) Бэкринъ Орша. Съ 7 рис. Ц. 4 к.—6) Пѣсня про купца Калашникова. Съ 7 рис. Ц. 3 к.—7) Мцыри. Съ 7 рис. Ц. 4 к.—8) Аулъ Бастунджи. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—9) Литвинка. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—10) Каллы. Съ 3 рис. Ц. 2 к.—11) Кавказскій плѣнникъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.—12) Корсаръ. Съ 3 рис. Ц. 2 к.—13) Черкесы. Съ 3 рис. Ц. 2 к—14) Джуліо. Съ 3 рис. Ц. 3 к.—15) Казначейша. Съ 5 рис. Ц. 4 к.—16) Герой нашего времени. Съ 23 рис. Ц. 25 к.—17) Бэла. Съ 9 рис. Ц. 8 к.—18) Таманъ. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—19) Княжна Мери. Съ 9 рис. Ц. 12 к.—20) Фаталистъ. Съ 3 рис. Ц. 2 к.—21) Призракъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.—22) Маскарадъ. Съ 5 рис. Ц. 10 к.—23) Испанцы. Съ 5 рис. Ц. 10 к.—24) Ашикъ-Керибъ. Съ 5 рис. Ц. 2 к.—25) Княгиня Лиговская. Романъ. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—26) Люди и страсти. Трагедія. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—27) Странный человѣкъ. Драма. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—28) Два брата. Драма. Съ 5 рис. Ц. 5 к.—29) Всѣ баллады и легенды. Съ 3 рис. Ц. 5 к.—30) Повѣсти изъ современной жизни. Съ 9 рис Ц. 7 к.

2р 78

С осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ біографическая библіотека подъ заглавіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ библіотеки войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 160 страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускаются отъ 3 до 4 книжекъ.

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 к.

До 1 октября 1894 г. вышли отдѣльными книжками 156 біографій слѣдующихъ лицъ:

Протопопа Аввакума, Андерсена, Аристотеля, Бальзака, Баха, Байрона, Бентама и Беккаріа, Берне, Бэкона, *Бѣлинскаго* (2 изд.), *Карла Бэра*, Беранже, Ветховена, *Богдана Хмельницкаго*, Боккачіо, Бенарше, *Боткина*, Джіордано Бруно, Рихарда Вагнера, Леонардо да Винчи, *Волкова* (основателя русскаго театра), Вольтера, *Воронцовыхъ*, Галилея, Гарвея, Гарибальди, Гаррика, Гегеля, Гейне, Гете, Гладстона, *Глинки*, Говарда, *Гоголя* (2 изд.), *Грибоѣдова*, Григорія VII, А. Гумбольдта, Гуса, Гутенберга, Гюго, Дагерра и Ніэпса, Даламбера, Данте, Дарвина (2 изд.), *Даргомыжскаго*, *кн. Дашковой*, *Демидовыхъ*, *Державина*, Дефо, Дженнера, Диккенса, *Добролюбова*, *Достоевскаго*, Жоржъ-Зандъ, *Жуковскаго*, *Иванова* (художника), *Іоанна Грознаго*, Кальвина, *Канкрина*, Канта, *Кантемира*, *Каразина* (основателя харьков. университета), *Карамзина*, Карлейля, Кеплера, *Ковалевской*, Колумба, Конфуція, *Кольцова*, Кондорсэ, Конта, Коперника, *Барона Н. А. Корфа*, *Крамского*, Кромвеля, *Крылова*, Кювье (2 изд.), Лавуазье, Лапласа и Эйлера, Лейбница, *Лермонтова*, Лессепса, Лессинга, Ливингстона, Линкольна, Линнея, *Лобачевскаго*, Лойолы (2 изд.) Локка, *Ломоносова*, Ляйелля, Маколея, Мейербера, Микель-Анджело, Милля, Мильтона, Мирабо, Мицкевича, Мольера, Монтескье, Томаса Мора, Моцарта, *Никитина*, *Никона*, *Новикова*, Ньютона, Роберта Оуэна, Паскаля, Песталоцци, *Перова*, *Пирогова*, *Писарева* (2 изд.), *Писемскаго*, *Потемкина*, *Пржевальскаго*, Прудона, *Пушкина*, Рабле, Рафаэля, Ришелье, Ротшильдовъ, Руссо, Сакіа-Муни (Будды), *Салтыкова*, Савонаролы, Свифта, *Сенковскаго*, Сервантеса, *Скобелева*, Вальтеръ-Скотта, Адама Смита, *С. Соловьева*, *Сперанскаго*, Стефенсона и Фультона, *Струве*, Стэнли, *Сѣрова*, Теккерея, Торквемады, *Тургенева*, Уатта, *Ушинскаго*, Фарадея, *Фонвизина*, Франклина, Цвингли, *Шевченко*, Шиллера, Шопенгауэра (2 изд.), Шопена, Шумана, *Щепкина*, Эдисона и Морзе, Джоржъ-Эліота, Юма, *Ѳедотова*.

Приготовляются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

Аксаковыхъ, *Александра II*, Бисмарка, Бокля, Вашингтона, *В. В. Верещагина*, Вирхова, Гайдна, *Герцена*, *Гончарова*, Гракховъ, *Грановскаго*, Декарта, Дидро, *Екатерины II*, Кетле, *Н. И. Костомарова*, Кука, Листа, Лютера, Магомета, Макіавелли, *Меншикова*, Меттерниха, Мольтке, Т. Мюнцера, Наполеона I, *Некрасова*, *Островскаго*, Пастера, *Петра Великаго*, Платона, *Н. Полевого*, *Радищева*, Рембрандта, Ренана, Рикардо, Сенеки, Сократа, Спенсера, Спинозы, *Станкевича*, *Суворова*, *Льва Толстого*, *Успенскаго*, Франциска-Ассизскаго, Фридриха II, *Чайковскаго*, Шекспира, *А. Н. Энгельгардта*, и др.

Курсивными буквами обозначены имена русскихъ дѣятелей.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова (Спб. Лештуковъ пер., № 2).

Усмотрѣно цензурою С.-Петербургъ 26 Августа 1894 г.

DK 38.7 .K35 S6 C.1
Stanford University Libraries
3 6105 038 949 991

DK
38.
K3

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6063
(650) 723-1493
grncirc@stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

6/30/2006 - KLCP
JUL 2005